

АЛИСА МОРИНА

ПРАВО
ПЕЧАТИ

РОД ВЕРИЦКИХ

ДОМ ГОВОРИТ, ПОКА ГОВОРИТ ЕГО ПЕЧАТЬ

Алиса Мори́на

Род Верицких #1. Право печати

«Автор»

2026

Морина А.

Род Верицких #1. Право печати / А. Морина — «Автор», 2026

Дверь не ломают, если можно получить ключ по описи. Дом не сжигают, если можно принять его на хранение. Наследника не убивают — его признают недееспособным. Я очнулся в чужом теле, без памяти и без имени, в доме, который доедают по бумагам. Родион Верицкий, последний в роду: одиннадцать тысяч восемьсот долга, повреждённая родовая печать и слушание в Палате через неделю. Соседи из дома Ланских не сделают ничего противозаконного. У них безупречные документы, лучший поверенный и десять лет опыта в законном поглощении чужих домов. От прежней жизни мне досталось одно ремесло: я умею находить чужой след там, где все видят порядок. Здесь это зовут магией печатей. Я зову это чужим доступом, выданным не по правилам. Драться нельзя: за первый удар меня объявят буйным и заберут всё. Значит, буду читать их бумаги. И искать то место, где к бесспорному пункту сбоку пришта оговорка, которой там быть не должно. Семь дней, трое слуг, ни рубля и ни одного поверенного. Посмотрим, чья бумага прочнее.

© Морина А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Чужое тело	5
Глава 2. Дом на обломках	11
Глава 3. Вежливая удавка	17
Глава 4. Бумаги, слухи и Варвара	24
Глава 5. Как стоит Верицкий	32
Глава 6. Малое заседание	40
Глава 7. Чужой долг	47
Глава 8. Не все документы лгут одинаково	53
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Алиса Морина

Род Верицких #1. Право печати

Глава 1. Чужое тело

Во рту было совершенно паскудно. Так бывает, если накануне мешал спирт с дешёвым пивом, а под утро решил закусить старой медной монетой.

Я попытался сплюнуть вязкую, ставшую похожей на клейстер слюну, но только измазал подбородок.

Воняло тут знатно и весьма специфически. Кислым застарелым потом, гнильцой, отсыревшим деревом и почему-то ржавчиной.

Лицо намертво прилипло к полу. Левая щека вообще ничего не чувствовала, словно я её напрочь отлежал. Зато под рёбрами... Вот там творился крошечный, ничем не прикрытый ад. Внутри пульсировал тупой, неподъёмно тяжёлый сгусток боли. И стоило только попытаться втянуть носом чуть больше воздуха — этот сгусток мгновенно взрывался тысячей битых стёкол.

Глаза открывать я не стал. На кой чёрт, если башка гудит, как неисправная трансформаторная будка. Надо проверить связь с конечностями. Базовый протокол.

Правая кисть дёрнулась. Скрипнула по грязным доскам, под ноготь тут же больно вошла мелкая щепка. Отлично, работает. А вот левая... Глухо. Висит себе куском замороженного мяса и на команды не реагирует.

Пришлось до крови прокусить губу. Я пялился на левую кисть, пока пальцы наконец не скребанули по грязному полу. Задержка дикая, но связь с телом осталась. Спину, похоже, не отрубило.

Валяться на сквозняке нельзя. Заработаю воспаление лёгких, начну кашлять, а если рёбра всё-таки сломаны, кашлять сейчас — последнее дело.

Я упёрся здоровой ладонью в доски и попытался отжаться.

Боль ударила под дых. Перед глазами погас свет. Воздух выбило из груди с жалким сипом, и я рухнул обратно. Лежал, глотая вонючую сырость, пока багровые пятна не растаяли.

Пришлось ползти. Цепляясь ногтями за щели, я волочил себя к торчащей деревянной ножке, вцепился в засаленное дерево и подтянулся, приложившись коленями о доски. Спина и плечи налились чугуновой тяжестью, будто я тащил на себе чужую разгрузку.

Кое-как выпрямился и сразу навалился на толстую, покрытую пылью столешницу, чтобы ноги не подкосились. Дерево под сапогами протяжно хрустнуло — так не хрустит под тем, кто весил столько же, сколько я вчера. Тело было заметно тяжелее прежнего. Столешница под ладонями прогнулась: рука оказалась сильнее той, к которой я привык, и дозировать это усилие я пока не умел.

На краю стола обнаружился глиняный кувшин с трещиной на боку. Пить хотелось зверски.

По привычке я потянулся проверить связь — и поймал себя на движении, которое здесь нечем закончить. Ни сети, ни розетки, ни часов с подсветкой: сальная свеча, кованый гвоздь, доски. Местное железо застряло где-то между сургучом и паровой машиной, и это была первая проверка, которую я провёл в этом мире, — и первая, которая ничего не вернула.

Я цапнул кувшин рукой и едва не раздавил. Широкие пальцы с ободранными костяшками впились в глину так, что посудина заскрежетала. На стол выплеснулась лужа. Осторожно подтянув кувшин к себе, я заглянул внутрь.

Вода оказалась застоявшейся, с мутной плёнкой на поверхности. Сквозь неё на меня пялился совершенно незнакомый тип.

Здоровенная квадратная челюсть. Жёсткая чёрная щетина. Нос явно когда-то ломали, и сросся он криво. Красные, воспалённые глаза смотрели исподлобья.

Я моргнул. Тип в воде сделал то же самое.

— Какого хрена... — хрипнул я.

Собственный голос ударил по ушам — чужой рокочущий бас, каким объявляют остановки и просят пройти на выход, и которым я не разговаривал ни разу в жизни.

Я зажмурился. Стал лихорадочно рыться в башке. Имя. Фамилия. Пин-код от зарплатной карты.

Ничего. Чисто. При этом я отчётливо помню синтаксис питона. Помню наизусть восьмёрки гугловского резолвера и то, как воняет горелый блок питания. А себя не помню. Ни лица, ни родителей, ни адреса.

Отшвырнул кувшин от греха подальше.

Он с грохотом разлетелся о доски. Плевать. Я задыхался, грудь ходила ходуном. Ощупал шмотки: колючая шерсть, грубый широкий ремень. Левый бок стоял колом от засохшей крови. Ткань там задубела, превратившись в жёсткую корку. Свежей крови вроде не видно.

Надо валить отсюда.

До двери оставалось шага три. Здоровая створка из почерневшего дуба, перетянутая ржавыми полосами. Из-под неё тянуло ледяным сквозняком.

Сделал шаг. Половица жалобно заныла под тяжёлым сапогом.

На втором шаге вышла заминка. Левая нога тупо отказалась сгибаться. Повисла мёртвым грузом. Пришлось навалиться на стену и волочить ногу за собой по грязи. Под пальцами сыпался сырой раствор.

Доковылял. Вцепился в металлическую ручку. Холоднющая. В ладонь сразу впился какой-то заусенец.

Дёрнул на себя.

Ни с места.

Я впечатался в доски здоровым плечом, вложив весь этот свой новый проклятый вес. В рёбрах полыхнуло так, что из глаз брызнули искры, а челюсти сомкнулись с хрустом. Замок даже не лязгнул. Наглухо.

Колени подкосились. Я съехал спиной по шершавому дереву на пол, стараясь не отключиться от боли.

Через дверь не выйти. Ищем другие варианты.

Дуб охлаждал затылок даже сквозь волосы. Я посидел так немного, прижимая локоть к боку и дожидаясь, пока боль перестанет толкаться под рёбрами в такт сердцу. Плечо после удара наливалось тяжёлым жаром.

Ещё раз врезаться в дверь? Спасибо, хватило первого.

Я поёрзал, устраивая онемевшую ногу, и пряжка ремня впилась в живот. Большая железная бляха, а в ней толстый язычок. Коротковат, зато крепкий. Щель возле замка была совсем рядом.

Оставалось вытащить ремень из-под себя.

Здоровой рукой я расстегнул пряжку. Дальше дело застопорилось: кожа уходила под левый бок, а приподнять его без помощи ноги я толком не мог. Я упёрся правой пяткой в пол, дёрнул таз вверх и тут же рухнул обратно. Под рёбрами шарахнуло. Воздух вышел сам, с тихим сипом.

Полежал, уткнувшись щекой в дверь. От неё пахло сыростью и старым железом.

Под пояс удалось просунуть пальцы. Левая кисть наконец сообразила, чего от неё хотят, и вцепилась в край ремня. Я потянул обеими руками. Грубая кожа медленно поползла из-под

спины, цепляя рубаху и засохшую на боку кровь. Последний кусок вышел рывком. Пряжка стукнула о доски и едва не попала мне по костяшкам.

Я перевернул её в ладони. Язычок держался на толстом штифте. Сойдёт.

До замочной скважины я не дотянулся, зато между створкой и косяком оставался тёмный зазор. Я лёг на правый бок, подтащил колено и прижал плечо к двери, чтобы не заваливаться. Сквозняк бил прямо в глаз. Пришлось щуриться.

Кончик язычка вошёл в щель на толщину ногтя и упёрся в дерево. Я поводил им вверх. За косяком ничего не звякнуло; у самого уха сухо скребло железо. Чуть ниже зазор оказался шире. Пряжка провалилась глубже, за что-то зацепилась и выскочила, когда я потянул.

Металл чиркнул по косяку. На пол посыпалась чёрная корка.

Я перехватил ремень ближе к пряжке и сунул язычок обратно. Левая рука запоздала, железо ушло в сторону и завязло в грязи. Пальцы скользнули по коже. Я выругался и дёрнул сильнее.

Пряжка вылетела из щели и проехала по косяку с таким хрустом, что я невольно зажмурился.

Под ней блеснула узкая светлая линия.

Сначала я решил, что содрал краску до гвоздя. Провёл большим пальцем по косяку, стирая рыхлую грязь. Линия загнулась и ушла вниз. Рядом проступила вторая. Они сходились слишком ровно для случайных царапин.

Я отложил ремень и расчистил кусок рукавом. В дерево был утоплен серебристый знак размером с ладонь: несколько угловатых линий стягивались к пустому кругу. Грязь забила канавки, металл почти сравнялся с дубом. Я смотрел прямо на него, когда бился в дверь, и ничего не заметил. Моргнул — и опять пришлось искать рисунок, хотя тот был у меня перед носом.

Указательный палец лёг на край знака.

Холод прошил руку до локтя. Под рёбрами дёрнуло так, что меня сложило пополам. Там, внутри, вдруг обозначился круг. Пустое место с жёсткими краями, и по этим краям что-то заматалось, пытаюсь замкнуться. Во рту щёлкнул кислый металлический привкус, как от батарейки на языке.

Я отдёрнул руку и прижал её к груди. Сердце сбилось и теперь колотило куда-то в горло. Знак больше не блестел. Обычная тусклая вставка в старом косяке.

Трогать его снова я не собирался. Можно проверить и без этого.

Правым локтем я оттолкнулся от пола и кое-как сел боком к косяку, переждал укол под рёбрами.

Поднял ладонь и остановил, не доведя до металла ладони две. Ничего. Поднёс ближе. Кожу тут же стянуло холодом, а пустой круг под рёбрами заныл. Я отодвинул руку на палец дальше. Боль ослабла. Вернулся к знаку — собралась опять.

Что бы ни вбили в косяк, тело знало этот рисунок. Тянулось к нему. Связь с этим местом ещё держалась, но внутри что-то оборвалось и теперь цепляло живое всякий раз, когда я приближал руку.

Я уже хотел убрать ладонь, когда пустой круг под рёбрами сжался ещё раз. Пальцы до знака так и не дошли.

Воздух застрял в горле. Ладонь так и стояла поднятой, и убрать её я сообразил не сразу. Пальцы мелко дрожали, холод стягивал локоть.

Потом дёрнулся, прижал локоть к боку и упёрся лбом в дверь рядом со знаком. Боль медленно отползла к позвоночнику. Дуб под лбом поплыл. Я зажмурился. Ладонь прижал к груди, подальше от серебряных линий.

Я подтянул правую пятку, чтобы не завалиться. Левая нога поехала по доскам, задела пряжку. Та перевернулась на полу со звоном. Я уцепился за звук, мысленно повторил его, лишь бы удержать комнату.

Звон исчез. Женщина крикнула:

— Родион!

Голос сорвался на последнем слоге. Шершавый дуб под щекой пропал; на миг там оказался холодный пол старого зала. Пахло воском. Где-то рядом тяжело ударили, и затылок прострелило болью.

Я открыл глаза.

Косяк был на месте. Затылок ныл ещё несколько вдохов. Я потёр его ладонью, и боль понемногу ушла. Пряжка лежала возле колена. Во рту опять появился металлический привкус. От женского крика осталось имя.

Я прислушался. В комнате никто не дышал, кроме меня. Сквозняк из-под двери шевелил край рубахи у колена и охлаждал вспотевшую кожу. Голос пришёл изнутри.

— Родион, — повторил я тихо.

Плечи опустились сами. Левая кисть с первого раза нашла ремень. На имя тело отзывалось лучше, чем на мои команды.

— Ладно. Родион, так Родион.

Я протащил ремень за спиной и обернул вокруг пояса. Кожа цепляла рубаху. Край лёг на затвердевшую от крови ткань и заскрёб при вдохе. Пришлось спустить ремень ниже. Фамилия не вспоминалась. Лезть за ней обратно в боль не хотелось. Хватало и того, что пальцы никак не попадали язычком в дырку.

Пришлось смотреть на левую руку. Она удержала кожу натянутой, пока правая справлялась с пряжкой.

— Родион Верицкий, — выдохнул я.

Фамилию говорить не собирался. Она выскочила сама, без голоса в голове и без новой картинки. Я повторил медленнее. Язык не запнулся. Под рёбрами толкнуло.

И ещё два слова, уже без голоса: Дом Верицких. От них боль стала глубже. Обе руки оставались на ремне.

Язычок вошёл в дырку. Пряжка щёлкнула.

На один удар сердца щелчок стал чужим. Под левой ладонью качнулась деревянная крышка, не попавшая в паз. Пахнуло старой бумагой.

Я втянул воздух, пытаюсь удержать запах, но он уже пропал. Осталось только название: архивный футляр.

Я вернулся к ремню, ощупал застёгнутую пряжку и проверил её ещё раз, на совесть. Держится. Перекошенная крышка не отпущала.

Женский шёпот вернулся, торопливый и невнятный. Я разобрал фамилию:

— Ланские...

Тело собралось само, раньше меня: прикрыть больной бок, убрать подбородок, сжаться в плечах. Так стоят, когда ждут удара.

Лица за фамилией память не показала. Осталась только рука, прижатая к ране.

Ланских я запомнил. При встрече поворачиваться к ним спиной не стоило.

Я упёрся правой пяткой в пол, собираясь подняться. Если снаружи окликнут Родиона Верицкого, придётся отвечать.

Снаружи осторожно тронули замок.

Металл едва слышно щёлкнул. Потом ещё раз.

Я замер, так и не поднявшись.

Третий щелчок вышел громче двух предыдущих.

— Родион Андреевич? — позвал мужчина снаружи. — Это Матвей Савельевич.

Ручка повернулась. Створка пошла на меня, и я дёрнул правую ногу к себе. Левая запоздала. Носок сапога застрял под дверью, дерево толкнуло колено.

— Погодите.

Щель перестала расти. Я ухватил себя за штанину и вытащил сапог. Под рёбрами уже разгоралось. Дверь задела одно колено, а обиделось всё сразу.

— Теперь.

В комнату лёг свет из коридора. На пороге стоял сухой седой мужчина в тёмном сюртуке. Он посмотрел на меня и на грязный пол у моих ног. Лицо не изменилось.

— Дверь заела, — объяснил я.

— Вижу.

Матвей Савельевич вошёл боком и протянул руку. Я вцепился в его предплечье, упёрся пяткой и поднялся до колен. На следующем движении левая нога подломилась. Матвей молча переставил ступню, принял мой вес на плечо и дождался, пока я всё-таки выпрямлюсь.

Он был мне едва до виска и весил вдвое меньше, а хватку имел уверенную. Похоже, Родиона Андреевича с пола поднимали регулярно. Вот спасибо.

— До стола, — сказал Матвей.

Я хотел отказаться, но столешница находилась в четырёх шагах, а самостоятельности во мне набиралось шага на два. Пришлось идти вместе. На втором левая стопа подвернулась, и пальцы Матвея сильнее сжали мой локоть. Он даже не спросил, где болит.

У стола я отнял руку и навалился на знакомое дерево. Оно выдержало. Уже достижение.

Под подошвой Матвея хрустнул осколок кувшина. Он отодвинул его к стене и даже не спросил, откуда на полу черепки. Чем дольше мужчина молчал, тем хуже выглядел послужной список прежнего владельца тела.

Матвей остался рядом. Разглядывал моё лицо и прикидывал, сколько неприятностей я устрою до рассвета.

— Ланские требуют архив? — спросил я.

Его взгляд стал внимательнее.

— Требуют.

— Зачем?

Матвей задержал ответ.

— Вы это знаете, Родион Андреевич.

Я потрогал затылок. Он ныл вполне убедительно, хотя половина этой боли могла остаться от чужого воспоминания.

— Может, и знал. Голова после падения гудит. Давайте по существу.

Матвей оценил засохшую кровь на рубаше и спорить не стал, однако снова подставился мне под локоть. Доверия не прибавилось. Вероятность моего падения он оценил выше.

— Для осмотра перед слушанием. Они называют это осмотром.

Матвей выговорил последнее слово ровно и потёр большим пальцем костяшку. Продолжать он не стал. Пришлось выбираться дальше самому.

Я сменил опорную руку. Левая ладонь сама легла на больной бок, и Матвей проследил за ней глазами.

— С домом что-то не так, — сказал я. — Я это чувствую под рёбрами, а назвать не могу. Пусть поправляет, если я собрал чужие обрывки неправильно.

Матвей помолчал.

— Печать повреждена, Родион Андреевич.

Имя прозвучало тяжелее, чем у двери. Там оно помогало понять, кому отвечать. Здесь за ним обнаружились обязательства.

— Что будет, если её признают недействующей?

Матвей провёл ладонью по лицу, и на миг оно всё исчезло. Когда открылось обратно, складка между бровями вернулась.

— Архив у Верицких не оставят. Ланские этого и добиваются.

Он сказал «у Верицких», и пальцы на моём локте ослабли. Я стоял сам, потому что падать при таком уточнении было бы совсем невежливо.

— И вы думаете, я смогу этому помешать?

Матвей посмотрел на засохшую кровь у меня на боку. Промолчал.

— Слушание когда?

— Через несколько дней.

Несколько дней. Плохо, но хотя бы единица измерения крупнее часа. Я осторожно распрямил спину. Под рёбрами потянуло, затем отпустило.

— Значит, архив им покажут на слушании.

Считал я при этом в уме, как считал бы заявки: сколько людей имеет доступ, сколько из них об этом знает и сколько успеет им воспользоваться, пока никто не смотрит. Разница была только в том, что здесь никакой журнал доступа за меня ничего не записывал.

Матвей посмотрел мне в глаза. Усталость никуда не делась, зато теперь к ней добавилось ожидание.

— Нет, — сказал он.

Я подождал. Матвей тоже. Старый управляющий явно не собирался облегчать мне работу сверх необходимого.

— Когда?

— Их представитель приедет утром.

Пальцы вдавились в край столешницы. Дерево тихо хрустнуло.

Я разжал пальцы.

Матвей убрал руку с моего локтя.

Левая нога дрогнула, но колено выдержало, и я остался стоять.

До утра оставалась одна ночь.

Глава 2. Дом на обломках

Пять минут на ногах я бы ещё выдержал. Тратить их на разговор не хотелось.

Матвей уже убрал руку с моего локтя, но далеко не отошёл. Следил, как я стою. Наверное, прикидывал, куда удобнее подхватывать, когда хозяин снова сложится пополам.

— Покажите бумаги.

Я подтянул стул носком правого сапога и сел. Под рёбрами дёрнуло. Пришлось замереть, пока боль не перестала отдавать в плечо. Матвей дождался, когда я снова вдохну, и полез во внутренний карман куртки.

Левую ногу я вытянул вперёд. Так она хотя бы не мешала. Правая упиралась в пол, ладонь лежала на краю стола. Три точки опоры. Для разговора хватит.

На стол легла стопка листов. Я ожидал увидеть больше. Верхний пошёл волнами у сгиба. Такие следы остаются, если бумагу долго носят за пазухой.

— Их с осени носили туда-сюда, — сказал он не по делу. — Я их сначала в буфетной держал, потом при себе стал. У нас в позапрошлом году из кабинета две расписки пропали, так и не нашлись. С тех пор при себе.

Бумаги Матвей отпустил не сразу — сначала убедился, что я тянусь к ним, а не собираюсь смахнуть стопку на пол.

— Это всё?

— Что успели собрать.

За первым документом пришлось тянуться через стол. Бок тут же напомнил о себе, и остаток пути я проделал уже осторожнее. Бумага была рыхлой, с тёмными вкраплениями на просвет. Разбирать длинные обороты я не стал, нашёл внизу дату.

Буквы читались без труда. Со смыслом было хуже: фраза начиналась со срока, потом ныряла в два незнакомых оборота и выбиралась к подписи уже совсем о другом. На третьем таком обороте я бросил чтение, провёл ногтем по нижней строке и повернул лист к Матвею.

— Значит, этот срок раньше слушания.

— Раньше.

Я положил лист слева, на свободный край столешницы.

Управляющий проследил за ним и придержал общую стопку слабее прежнего.

На следующем документе крошился старый сургуч. Матвей увидел, куда лёг первый лист, и сам сказал:

— Для слушания.

Я отдал лист обратно.

Объяснять свою сортировку я не стал. Матвей тоже не спросил. Только подал следующий документ сгибом ко мне, чтобы не пришлось разворачивать его большой рукой.

На следующем бледнели разведённые чернила. Дата стояла послезавтрашняя.

— До слушания успеет?

— Да.

Он лёг слева, поверх первого. Следующий лист Матвей положил уже у моего локтя. Раньше складывал посередине.

Левая кисть снова начала неметь. Я прижал ею край срочной стопки, превратив бесполезную конечность в пресс. Слушалась она с задержкой, зато листы больше не разъезжались.

Так мы разобрали ещё несколько листов. Справа росла куча того, что могло подождать. Слева осталось всего два документа. Голова гудела, строки начинали расползаться. Я выравнивал левую стопку по краю стола.

Если даты не было, я спрашивал, когда этот лист даст кому-то право действовать. Матвей отвечал одним словом. Однажды задумался дольше обычного, и лист отправился влево. Этого было достаточно. Названия местных процедур подождут до утра.

— Ещё одно, — сказал я. — Если человек должен денег, что он теряет?

— Деньги и теряет.

— А голос?

Матвей глянул на меня так, будто я спросил, тонет ли камень.

— Голос не теряют, Родион Андреевич. Долг — это долг, за дом говорит дом, и так оно идёт, пока есть кому говорить. А если некому, тогда назначают опеку, для того и слушание собирают.

Я подтянул к себе чистый угол листа и написал два слова: долг и голос. Между ними провёл черту. Черта вышла тонкая, и Матвей поглядел на неё дольше, чем на всё, что я до этого писал.

Ноготь стукнул по левой стопке.

— До слушания шесть дней, седьмое утро наше. Их человек будет здесь утром. За чем он едет?

Из-под общей кучи торчал край отдельного листа. Матвей помедлил, вытащил его и подвинул ко мне.

Я взялся за свободный угол. Матвей отпустил лист не сразу.

Этот лист был плотнее остальных. Сургуча не было, только размашистая подпись внизу. Два абзаца в три строки. Одну строку пришлось прочитать дважды: подготовить архив к осмотру.

— Стало быть, к утру.

— К приезду представителя, — сказал Матвей. — Он с ночлега поедет, а до нас от почтовой станции час с небольшим.

Бумага легла поверх левой стопки.

— Теперь про архив.

Матвей упёрся в стол и ответил не сразу.

— Внизу. Дверь заперта.

— Покажите дорогу.

Он остался на месте. Я тоже не шевелился. Встать без его помощи я, пожалуй, смог бы. Убедительно сделать вид, что помощь мне не нужна, уже вряд ли.

Я поставил здоровую ногу ближе к стулу. Ножка скребнула по полу. Матвей качнулся ко мне и остался на месте.

Матвей примерился к моей левой ноге, будто считал шаги до двери, и достал из кармана потёртое кольцо с двумя ключами.

На столе остались три стопки. До решения дела было далеко, но ближайшая угроза хотя бы перестала прятаться в общей куче.

Я отодвинул бумаги и взялся за край стола.

У двери Матвей остановился. Ключи так и остались у него в кулаке.

Я подтянул правую ногу под стул. Ладонь на стол, вес вперёд. На середине подъёма бок стянуло так, что пришлось замереть в нелепом полуприседе. Матвей смотрел куда-то мне за плечо. Удобная для нас обоих версия происходящего.

Когда отпустило, я выпрямился. Стол остался рядом, но возвращаться к нему я не собирался.

— Идёмте.

Матвей открыл дверь. Я успел сделать два шага, прежде чем левая нога зацепила порог. Сапог стукнул по дереву, меня повело к косяку. Управляющий повернулся на звук. Руки не протянул.

Я оттолкнулся от косяка сам, не дожидаясь его решения. Левая нога подтянулась со второй попытки.

За дверью коридор уходил вправо, к широкому проёму с погашенной лампой. Матвей сразу ушёл в узкий проход слева.

— Почему обходом?

Он оглянулся всего на секунду.

— В жилом крыле не топим.

Первая дубовая дверь пропустила ключ, но открываться не собиралась. Матвей дёрнул ручку. В коробке сухо треснуло.

Я взялся за край двери здоровой рукой.

— На себя, — сказал Матвей.

По тому, как Матвей заранее отошёл, можно было догадаться, куда открывается дверь. Я потянул. Дверь сдалась рывком и навалилась на меня всем весом. Под рёбрами резануло. Я завис на ручке, прикрываясь тяжёлой створкой, и пропустил его вперёд.

За порогом Матвей подождал, пока я перетащу ногу, и запер дверь. Два оборота ключа отрезали свет из коридора.

Ближайшее окно было наглухо закрыто ставнями. Матвей ушёл в темноту далеко вперёд. Я шёл на звук шагов; иногда впереди вспыхивало кольцо с ключами.

Через несколько метров он нырнул в открытую комнату. Я остановился у порога. Внутри помещались узкая кровать без матраса и тумба. Над кроватью торчали два пустых крюка. Матвей снял с подоконника керосиновую лампу, чиркнул спичкой и сразу вышел обратно.

На подоконнике остался чистый прямоугольник среди пыли. Матвей прикрыл за собой дверь, оставив её незапертой.

Жёлтый свет выхватил лестницу. Три ступени вниз, перил нет. Матвей спустился и поднял лампу повыше.

Я поставил правую ногу на край первой ступени. Левую пришлось стаскивать следом. Она повисла в воздухе и не нашла камень. Пальцы скользнули по холодной стене.

Матвей освободил руку. Поднял её до половины и остановился.

Я видел эту ладонь. Он видел, что я её вижу.

На второй попытке сапог достал до ступени. Колено дрогнуло, зато выдержало. Матвей опустил руку до того, как я перенёс вес.

Внизу пришлось переждать. Я сделал вид, что рассматриваю низкую арку впереди. Сырой раствор осыпался с неё Матвеем на сюртук; тот смахнул крошку и пошёл дальше.

— Представителя Ланских сюда поведёте вы?

Матвей поднял лампу к низкому каменному своду. Ответил, только когда мы миновали арку.

— Да.

— Без вас пройдёт?

— Нет.

Вот и ещё одна точка отказа: человек с ключом. Пока Матвей оставался на ногах, чужой не прошёл бы к архиву, не объяснившись с ним.

Матвей снова сжал кольцо в кулаке и пошёл дальше. После лестницы расстояние между нами начало расти, хотя шагов он вроде не прибавил.

Коридор закончился массивной железной створкой. На сером металле темнели потёки, ручка блестела от ладоней. Матвей поставил лампу на выступ стены и перебрал ключи. Первый оставил висеть на кольце. Второй зажал между большим и указательным пальцами.

До скважины оставалась ладонь. Матвей не двигался.

Я тоже остановился. Левая нога мелко дрожала после лестницы, и теперь это можно было выдать за осмотр двери.

— Утром откроете вы? — спросил я.

— Если прикажете.

До скважины ключ так и не дошёл. Матвей положил его рядом с лампой.

Управляющий отцепил от пояса плоский кожаный чехол и достал сложенный лист. Дважды провёл ногтем по жёстким сгибам; края снова завернулись. Матвей прижал один угол футляром из тёмного дерева и повернул ко мне свободную нижнюю часть.

Я прислонился плечом к стене и уставился в опись. Пусть Матвей думает, что меня задержали строки. Они шли мелко, в два столбца. Названия предметов ничего мне не говорили, зато внизу оставалось свободное место. Указательный палец управляющего лежал рядом с первой пустой строкой.

— Что дальше?

Матвей поднял глаза от листа.

— Нужно ваше подтверждение.

Сказано было без упрёка.

— Ключа недостаточно?

— Ключ откроет дверь.

Он подвинул футляр ближе ко мне. Тёмный лак потрескался вдоль края, медная петля с одной стороны блестела сильнее. Вещь брали часто и всегда одним хватом.

Я отлепился от стены, оставив правую ладонь на камне для равновесия, и потянулся левой.

Пальцы прошли половину расстояния.

Под рёбрами затянулся тугой узел. Воздух ещё входил, движение руки уже закончилось. Я попробовал подать кисть вперёд хотя бы на ширину ногтя. Узел стиснул сильнее, и локоть сам прижался к боку.

Матвей придержал опись, когда край листа задел мой рукав.

— Достаточно, — сказал он.

Я отступил. Нога запоздала, каблук скользнул по камню. На этот раз управляющий подхватил меня за предплечье и сразу отпустил, едва я вернул вес на правую.

Футляр стоял там же. Между ним и моей рукой осталось меньше ладони.

— Что внутри?

— Печать Дома. Это её футляр, домовый. У Печати он один.

Не тот. То, что поднялось у меня в первую ночь, пахло старой бумагой, а не лаком, и крышка там не шла в паз.

— Я не открыл футляр.

— Вы к нему не прикоснулись.

Матвей вернул лист на камень и разгладил загнутый угол. Занимала его опись. Мне оставалось делать то же самое.

Боль ослабевала медленно. Повреждённый контур получил рабочую нагрузку и отключился ещё до контакта. Проверять защиту второй раз хотелось примерно так же, как совать палец в щиток после запаха горелой изоляции.

Я прижал локоть к боку. Узел под рёбрами отозвался, но руку больше не держал.

— Если утром будет так же?

Матвей сложил ладони на краю выступа.

— Палата признает печать недействующей.

— На деле. Что мы теряем?

— Голос Дома.

Он снял с описи футляр. Бумага сразу свернулась по старым сгибам, и Матвею пришлось удержать её локтем.

— Архив перейдёт под временную опеку, — добавил он.

Матвей положил футляр поверх описи и отступил. Ключ лежал рядом с лампой, дверь оставалась закрытой. Несколько минут назад меня интересовало, сколько замков отделяет архив от утреннего гостя. Ответ оказался неприятно коротким: ни один не поможет, если хозяина перестанут считать хозяином.

— Кто станет опекуном?

Матвей обернулся к двери. Ответил не сразу.

— Ланские предложили обеспечение.

Вот и основание для утренней спешки. Им не требовалось ломать дверь или подделывать ключ. Достаточно дождаться решения, после которого Матвей сам будет обязан передать доступ.

Я снова взглянул на футляр. Повторять попытку сейчас означало свалиться рядом с ним и ничего больше не узнать. До утра тело крепче не станет по одному моему желанию.

— Что можно подготовить без печати?

Матвей коснулся верхнего края описи.

— Сверить список. Проверить ключи.

Он помедлил и указал на закрытую дверь.

— Определить, кого допустят сюда утром.

Работы хватало. Каждую часть можно было проверить без веры в местные слова и без ещё одной попытки дотянуться до футляра.

— Начинайте с описи. Футляр уберите дальше.

Матвей переставил футляр за лампу. Под рёбрами сразу стало легче, хотя расстояние прибавилось всего на две ладони.

Опись он развернул между нами и прижал ключом свободный угол.

Ключ плохо удерживал опись. Стоило Матвею убрать ладонь, свободный край полез вверх и закрыл нижние строки.

Я прижал лист костяшками. Левая рука после футляра снова ныла, кончики пальцев едва чувствовали бумагу. До утра они могли подождать. Ланские — вряд ли.

— Утром бумаги Ланских берёте вы?

Поверх лампы Матвей проверил, читаю я или делаю вид.

— Прежде брал. Завтра не знаю.

— Значит, решим сейчас. До какого места проводите людей?

Матвей повёл подбородком в сторону закрытой двери.

— До этой.

— Дальше открываете только после того, как я прочитаю бумаги.

— Если в них будет право на осмотр, открывать придётся.

— Возможно. Но между «прочитал» и «открыл» я хочу успеть задать вопрос.

Возражать он не стал. Взял ключ, поднёс к замку и замер, не касаясь металла. Матвей всё равно сделал бы, что велено. Его пальцы спокойно лежали на ключе; он ждал следующего распоряжения.

Я указал на свободное место под описью. Матвей не двинулся.

— Нужен отдельный лист, — сказал он. — На описи нельзя.

Ещё одно местное правило, о которое я успел споткнуться. Смысл был знакомый: рабочую запись можно исчеркать, испорченная опись станет ещё одним вопросом на утро. Спорить с этим было не о чем. Матвей достал из-под описи узкую полосу бумаги и положил её передо мной. Рядом лёг огрызок карандаша.

Я вывел: «Бумаги принимает Матвей Савельевич». Писать правой получалось лучше, чем держать её кувшин, но буквы всё равно выходили слишком тяжёлыми. На окончании фамилии рука дрогнула, грифель продрал бумагу. Чёрная черта ушла вниз и перечеркнула последние слова.

Матвей сразу прихватил другой край листа.

— Давайте, я перепишу.

— Зачем? Здесь всего одна строка.

Он покачал головой и потянул лист к себе. Я не отпустил. Лист натянулся между нами. Совсем немного, но достаточно, чтобы Матвей это почувствовал.

— Вы всегда забирали бумагу после моей ошибки?

Матвей разжал пальцы. Лист остался под моей рукой.

— После тишины, — ответил он.

— Я молчал?

— Вы замолкали. Потом лист уже нельзя было расправить.

Он сказал это без жалобы и не уточнил, что происходило с остальным. В этом не было нужды: я видел, как быстро он потянулся за листом.

Край листа всё это время был у меня. Я заметил это, когда лист под ладонью захрустел. Сжимал его я сам.

Я отпустил лист и разгладил складку боком ладони.

— И вы начинали заново?

— Если было с чего.

— Почему?

Матвей удержал край описи ногтем.

— Потому что утро всё равно приходило.

Опись всё-таки лежала перед нами. Значит, в очередной раз Матвеем было с чего начать.

Опись он придерживал всё время, пока я приводил в порядок испорченную полоску. От меня сейчас требовалось примерно то же самое: удержать свой край и не испортить остальное.

На листе осталась складка от моей ладони. Убедительнее любых заверений и совсем не в мою пользу. Пока я мог исправить только одну строку.

Я зачеркнул испорченную запись. На строку ниже ушла почти минута. На этот раз пальцы дрожали мелко, но карандаш дошёл до края бумаги.

«Матвей проверяет бумаги. Открывать после моего решения».

— Проверьте формулировку.

Матвей прочёл. Прошёл по строке, не касаясь бумаги.

— До открытия вы должны увидеть полномочия.

— А если они не совпадут с уведомлением?

— Пусть объясняют разницу. Дверь подождёт.

— Это тоже пишем.

Я втиснул два слова между строк. Матвей подождал, пока я поставлю точку, и придвинул ключ к нижнему краю. Лист остался лежать передо мной.

Матвей переставил лампу ближе. Тень сползла со строки. Он ещё раз прочёл запись. На доверие это не тянуло. Зато работу он у меня больше не отбирал.

Я перечитал следом. Строка вышла кривой. Смысл, по крайней мере, читался одинаково с обоих краёв стола.

Матвей подвинул карандаш к пустому месту под записью.

— Здесь оставьте строку.

— Для кого?

— Для Павла Ордынцева. Он уже едет.

— От Ланских?

— С их бумагами.

Глава 3. Вежливая удавка

С утра дом вёл себя не так, как накануне. Половики в коридоре перетряхнули, в передней вымыли пол дважды, и от него ещё тянуло мокрым деревом. Варвара трижды прошла мимо двери, каждый раз с чем-нибудь в руках, и каждый раз замедляла шаг. Никто не отдавал таких распоряжений; дом сам знал, как встречают человека, от которого зависят.

Матвей отступил от стола к изразцовой печи, не сводя глаз с двери. Бумага с моей неровной строкой лежала под светом лампы — граница, за которую визитёру заходить не следовало.

Павел Ордынцев появился в дверях без шума. Пухлый кожаный портфель он нёс за ручку, сминая её сверху так, что кожа не разгибалась. Он переступил порог и остановился, не пройдя вглубь и не дав двери закрыться за собой полностью.

— Родион Андреевич. — Голос Павла звучал негромко. — Благодарю, что нашли возможность принять меня лично.

Я положил ладонь на край стола, рядом с ключом.

— Я принимаю бумаги Ланских. Матвей сказал, они у вас.

Ночную записку про то, что бумаги принимает управляющий, я отменил ещё на лестнице: прятаться за Матвея значило согласиться, что за дом может говорить кто-то, кроме хозяина.

— У меня. — Павел сделал два шага вперёд и поставил портфель на свободный угол столешницы. — И я привёз не только бумаги. Ланские понимают всю тяжесть вашего нынешнего положения. Семья готова взять на себя часть забот, чтобы избавить вас от лишнего давления извне. Мы здесь просто для того, чтобы помочь.

Он нажал большими пальцами на медные замки портфеля. Левый щёлкнул и откинулся сразу. Правый заело. Павлу пришлось надавить на крышку всем весом, чтобы пружина поддавалась.

Матвей на этот звук повернул голову. Правая рука у него сошлась в кулак и разошлась снова.

— Помочь с чем? — спросил я.

— С сохранением наследия. — Павел вытянул из недр портфеля плотную серую папку. Следом достал вторую, совсем тонкую. Плотную он положил на стол, придвинув ближе к свету лампы. Тонкую оставил лежать под своей левой рукой. — Ланские вводят режим временной защиты. В ваших же интересах.

Я посмотрел на серый картон. На обложке не было надписей, только приколотый сверху машинописный лист.

— Защиты от кого?

— От любых лиц, которые могут попытаться изъять или уничтожить документы до того, как наследственное дело по завещанию Сергея Борисовича будет решено окончательно. — Павел не отводил взгляда. — Бумаги теряются. Черновики приходят в негодность при неправильном обращении. Ланские берут на себя ответственность за то, чтобы всё осталось в полной неприкосновенности.

Слово «черновики» зацепилось неприятно. Я сменил позу; спину сразу стянуло вдоль позвоночника. Матвей у печи перенёс вес на другую ногу, и половица скрипнула под сапогом. Изразцы за его спиной были холодные — печь не топили со вчерашнего дня, и он всё равно стоял к ней вплотную.

— Вы хотите забрать архив.

Павел поправил край серой папки.

— Для начала осмотреть. Сверить опись с тем, что хранится, и проверить помещение.

— Под охраной Ланских.

— Если документы в опасности, дом Ланских готов отвечать за их сохранность. В вашем положении это разумная мера.

Я провёл ногтем по столешнице, остановившись возле серой папки.

— Разумная для Ланских.

— Для архива, Родион Андреевич. После осмотра у вас будет официальный документ о его состоянии. Сейчас такого документа нет.

Матвей за спиной Павла коротко качнул головой. Один раз, и сразу вернул лицо к прежнему.

— А вторая папка? — Я кивнул на его руку.

Пальцы Павла остались на тонком картоне.

— Там ходатайство о принудительном обеспечении сохранности. Я предпочёл бы его не открывать, пока мы можем договориться.

— О чём?

Павел придвинул серую папку ещё на дюйм.

— О доступе к архиву.

Лист с уведомлением лёг вплотную к моей кривой записи. Синяя гербовая печать Ланских стояла в самом низу, подтверждая полномочия. Я перевёл взгляд с печати на кривую строку, которую сам вписал ночью, и не притронулся ни к тому, ни к другому листу.

Я потянул край уведомления. Лист не сдвинулся: Павел всё ещё придерживал серую папку и отпустил её позже, чем следовало из вежливости. Бумага досталась мне с сухим шорохом.

Сверху теснились имена, должности и ссылки на бумаги, которых я не видел. Лампа отсвечивала на синей печати внизу. Я повернул лист боком, убрал блик и начал с середины, где от хозяина чего-то хотели.

Архив следовало подготовить к осмотру. Рядом упоминался перечень документов. Между перечнем и сроком шла строка о праве представлять дом перед Палатой и осуществлять принадлежащий дому голос при неисполнении. Дальше Ланские предлагали своих людей для временной охраны, пока будет идти опись.

Павел остался у стола. Тонкая папка лежала под его левой рукой, и он о ней не забывал ни на минуту. Пояснений он не предлагал. Видимо, рассчитывал, что после чтения они уже не понадобятся.

Я прижал ноготь к полю и повёл его вдоль строки. Подготовить архив означало открыть двери и снять с полок всё, что попросят. Для перечня требовался человек, который знает, где что лежит. Охране тоже придётся войти. Иначе охранять она сможет разве что пыль в коридоре.

Ключ по-прежнему лежал у моей левой руки. Бородка царапнула дерево и остановилась, указывая на бумагу.

Сергей Борисович, чьё завещание держало весь спор, приходился мне, если верить Матвею, двоюродным дедом по отцу и умер перед первым снегом — это я вытянул из Матвея ночью. В основаниях теснились старый долг и Вельский скандал; повреждённую печать вписали между ними. О долге я знал только со слов Павла и Матвея. Название скандала не говорило мне ничего. С печатью было ещё хуже: моя собственная отзывалась под рёбрами всякий раз, когда телу не нравилось очередное движение.

Матвей наверняка мог рассказать хотя бы про долг. Для этого пришлось бы при Павле признаться, что хозяин дома не помнит собственных обязательств. Я поднял глаза от листа. Матвей ждал, глядя на меня поверх гостя, но подсказать сейчас не мог. Пришлось оставить прошлое в покое и разбираться с тем, что Ланские собирались сделать сегодня.

Я вернулся к той части листа, где охрана получала доступ. Палец дошёл до середины строки.

Под рёбрами стянуло холодом. Воздух застрял на полувдохе, ноготь съехал на пустое поле.

Павел поднял глаза.

Я отнял руку и откинулся на спинку стула. Дерево упёрлось между лопаток. Несколько вдохов пришлось брать мелко, пока холод не ослаб и в боку не осталась знакомая тупая тяжесть. Вот и вся мистика: неудачно сел, потянулся через стол, получил по заслугам.

Ладонь легла на бок через рубашку. От нажима стало больнее, зато холод не вернулся. Обычная травма вела себя понятнее: у неё есть место, которое можно найти и назвать. Здесь под рубахой оставалось только напряжённое тело и ткань, прилипшая к коже.

У печи скрипнула половица. Матвей отлепился от изразцов.

Я положил свободную ладонь на стол, и Матвей остановился. Павел проследил за этим и вернулся к уведомлению.

— Продолжайте, — произнёс он.

Я и не собирался бросать. Отодвинул лист дальше от лампы, чтобы не тянуться, и нашёл место, на котором сбилось дыхание. Проверять его сразу было глупо. Сначала — строка со старым долгом. Потом по дате в верхнем углу. Под рёбрами ничего не изменилось.

Бумага лежала под рукой, обычная на вид. Машинка в одном месте пробила букву слишком сильно, и на обороте наверняка осталась выпуклость. Я зацепился ногтем за эту букву, вернулся к словам про охрану и двинулся дальше, туда, где речь заходила о доступе.

Холодная стяжка затянулась снова. На том же вдохе. Я убрал палец до того, как боль разошлась по боку, и лист качнулся от движения.

Матвей больше не шевелился. Павел тоже. Только тонкую папку он трогать перестал.

Я посмотрел на строку ещё раз, уже не касаясь. Дважды на одном месте — уже повод не спешить. Объяснения у меня не было, да оно пока и не требовалось. Достаточно знать, где начинает болеть.

Ланские называли это охраной. На деле их люди войдут в архив и будут решать, кого туда пускать. Можно спорить о долге, вспоминать чужой скандал, требовать новую бумагу. Павел привёз вторую папку именно на такой случай. Значит, начинать следовало с вещи попроще.

Я подтянул ключ к себе. Металл легко прошёл по столешнице и стукнулся о край моей кривой записи.

— После осмотра ключи от архива у кого останутся? — спросил я. — У меня или у вашей охраны?

Павел ответил не сразу.

Он смотрел на ключ, потом на меня.

— Сохранность документов — наш общий интерес, Родион Андреевич. Порядок доступа определит комиссия после осмотра. До её решения любые действия с архивом следует согласовывать с представителем Ланских.

Я прижал ключ пальцем к столу. Бородка врезалась в дерево рядом с моей кривой строкой. След остался — тонкая вмятина поперёк волокна.

— Завтра утром мне понадобится войти в архив. Я смогу открыть дверь сам?

— Если возникнет необходимость, сообщите о ней заранее. Вам обеспечат доступ.

— Кто?

— Уполномоченный представитель.

— Имя у него есть?

Павел чуть помедлил.

— Его назначат вместе с утверждением временного порядка.

Человека ещё не назначили, а права для него уже просили. В прежней жизни такую заявку вернули бы без рассмотрения — и вернул бы её тот же клерк, который её принял, не поднимая головы.

Я убрал палец. Ключ остался между нами, бородкой к Павлу.

Можно было сунуть его в карман и вынудить Павла возражать вслух. Слишком прямой ход. Пока ключ лежал на виду, гость сам должен был назвать момент, когда собирался его забрать.

— Порядка ещё нет. Представителя тоже. Ключ пока лежит здесь.

— Вопрос не сводится к тому, где лежит кусок металла.

— Архив открывается именно им.

Павел положил ладонь на тонкую папку.

— Дом Ланских рассчитывает на ваше добровольное содействие. В ином случае нам придётся передать ходатайство дальше, и решение будет приниматься уже без вашего участия.

Тонкая папка так и лежала неоткрытой. Плотная — передо мной. Обе приехали за одним ключом.

— Я ещё ни от чего не отказался, — сказал я. — Вы хотите забрать ключ до осмотра?

— Мы не хотим, чтобы бумаги пропали.

— Для этого ключ должен храниться у Ланских?

— Для этого необходимо соблюдать порядок, который будет установлен комиссией.

— Вы требуете окончательного ответа до осмотра. Сейчас его никто вам не даст.

— Это не отменяет обязанности содействовать сохранности архива, — сказал Павел.

Я откинулся на спинку стула. В боку потянуло, пришлось выпрямиться обратно. Павел дождался, пока я устроюсь, и только тогда отпустил папку. Ждал он молча и никуда не торопился.

— Комиссия появится потом, — сказал я. — На что вы опираетесь сейчас?

— Основания изложены в уведомлении.

— Я его прочитал. Там есть ссылка на Вельское заверение. Оно обязывает меня отдать ключ?

Павел вернулся к листу. Синяя печать блеснула под лампой, но к уведомлению он не притронулся.

— Заверение подтверждает обязательства вашей стороны перед семьёй.

— Про ключ там написано?

— Формулировка шире одного частного вопроса.

— Тогда покажите, как она с ним связана.

Я развернул лист к Павлу и освободил место у лампы. Он мог придвинуть уведомление, ткнуть пальцем в строку и закрыть разговор. Вместо этого Павел посмотрел поверх бумаги на Матвея.

Матвей стоял у печи, сложив руки на груди, и с ключа возле уведомления не сводил глаз. Помогать гостю он не собирался.

Павел вернулся ко мне. Большой палец его нашёл заевший замок портфеля и остался там до конца ответа, а голос стал на полтона ниже прежнего.

— Порядок применения Вельского заверения потребует отдельного согласования, — сказал он.

Я повернул уведомление обратно. Ключ лёг на свободное поле возле печати, бородкой в сторону гостя. Металл нагрелся от моих пальцев и был теплее бумаги.

— Согласуем.

— Мы направим необходимые пояснения вместе с протоколом осмотра.

— До пояснений ключ останется здесь.

Взгляд Павла задержался на моей руке.

— К этому вопросу придётся вернуться.

— Значит, вернёмся.

Он придвинул тонкую папку к раскрытому портфелю и взял со стола первый из оставшихся листов.

Первый лист Павел убрал в серую папку. Второй пришлось вытащить из-под края уведомления; бумага зацепилась уголком и едва не потянула его следом. Павел придержал уведомление, освободил свой лист и оставил чужой на месте.

Тонкая папка легла в портфель поверх серой. Павел опустил крышку. Правый замок опять заело, и он надавил на него большим пальцем, пока внутри не щёлкнула пружина.

Я не торопил. Ключ лежал возле печати. Уведомление тоже осталось со мной.

Павел взял портфель и ещё раз оглядел стол.

— Я передам Ланским содержание нашего разговора.

— Передавайте точно. Слово в слово.

Он кивнул. У двери задержался, взяв портфель обеими руками, как берут перед долгой дорогой.

— Осмотр всё равно состоится, Родион Андреевич. Не советую принимать сегодняшнюю паузу за отказ семьи от своих прав.

— Я услышал про паузу.

Павел помедлил и повернулся к Матвею.

— Всего доброго, Матвей Савельевич.

— Доброго пути.

Я не вставал. Павел вышел сам и прикрыл за собой дверь. Затвор лёг без стука: он придержал створку до самого конца.

Матвей дождался, пока шаги в коридоре стихнут, подошёл к двери и нажал на ручку. Проверил, легла ли защёлка, после чего вернулся к столу. На место Павла он не сел. Стул гостя он отодвинул к стене, будто убирал со стола лишнюю посуду.

— Что вы увидели? — спросил он.

Я подвинул уведомление так, чтобы ключ больше не закрывал печать. Читать лист заново не хотелось. От знакомых строк полезнее он бы не стал.

— Ланским нужен доступ к архиву. Осмотр даёт им повод войти, а ключ оставляет дверь под их контролем после осмотра.

— Они называют это охраной.

— Охранник у двери ждёт распоряжения. Человек с ключом сам решает, открывать её или нет. Павел так и не сказал, кто будет решать за нас.

Матвей качнул головой в сторону уведомления.

— Он сказал про комиссию.

— Комиссии здесь не было. Представителя ещё не назначили. Зато ходатайство Павел привёз заранее.

Матвей потёр большим пальцем костяшку указательного. За сутки я видел это дважды, и каждый раз он собирался возразить и молчал.

— Ходатайство никуда не делось, — произнёс он без всякого выражения. — Вернётся с подписью, если Ланские решат давить.

— Вернётся. Тогда в нём придётся написать, почему Вельское заверение позволяет забрать ключ. Сегодня Павел этого не показал.

— Может, не имел права объяснять.

— Может.

Я положил ладонь рядом с ключом.

— Тогда Ланские прислали человека, который не имел права ответить на главный вопрос. Для нас разница небольшая. Следующая бумага должна будет закрыть эту дыру или оставить её открытой.

Матвей оторвался от ключа.

— Вы из его паузы всё это взяли?

— Из паузы и из того, что он не придвинул к себе уведомление. Нужная формулировка была бы на одной из этих строк. Павел предпочёл пообещать согласование.

— А если формулировка есть в самом заверении?

— Значит, нам надо увидеть заверение раньше, чем они вернутся.

Матвей замолчал. Возражение у него оставалось, но спорить с ближайшим действием он не стал: убрал руки со стола и вытер их о колени.

— Даже если найдём, ходатайство это не остановит.

— Зато мы узнаем, на что отвечать. Пока у нас есть уведомление и ключ. С них и начнём.

— Что именно делать?

— Выяснить, сколько ключей от архивной двери существует и у кого они находятся.

Сначала проверим то, что уже есть в доме.

Матвей коснулся внутреннего кармана со связкой.

— Сейчас?

— Сейчас.

Он придвинул стул и сел напротив меня — впервые за этот разговор на одном со мной уровне. Потом достал из тетради чистый лист, положил его рядом с уведомлением и подал мне карандаш. Грифель был очинен свежо, срез ещё не потемнел.

— С какой двери начнём?

Я написал сверху: «Архив». Грифель пошёл по бумаге с нажимом, и первая буква вышла крупнее остальных. Под словом я поставил тире. Чтобы отследить, сколько ключей от конкретной двери гуляет по рукам, нужна домовая книга или инвентарная опись.

— Где кабинет? — спросил я.

Он неторопливо покрутил свою связку. Ключи скребнули по деревянной столешнице.

— Чей кабинет? — не сразу понял он.

— Того, кто вёл дела до вас. Степан Ильич ведь управлял, пока не слёг?

— Двадцать два года, — ответил Матвей. — Я при нём ходил вторым, а после него пять лет один. Управлять он перестал пять лет назад, а архив и старые счета до самой смерти никому не отдавал. Схоронили его на Покров.

— Где лежат хозяйственные реестры?

Матвей потёр щёку и оглядел стены, а дальше всего — дверь в коридор.

— Кабинет на втором этаже. Только там с зимы не топят, рамы рассохлись, сквозняки гуляют. Степан Ильич бумаги вниз спускал, в малую гостиную.

— Значит, туда и пойдём. Утром.

— Так они не все там. — Матвей недовольно поморщился. — Что-то наверху в ящиках стола осталось. Что-то он к себе в спальню унёс, когда слёг. Перебирал всё перед концом.

— Ланские нам какая родня? — спросил я.

— Никакая, — сказал Матвей. — Заимодавцы.

— Тогда почему заимодавец говорит про архив и про то, кто отвечает за дом?

— Пока долг не закрыт, кредитор вправе просить обеспечения: описи, охраны, осмотра. Это в порядке вещей. А голос дома они прицепили сверх того, и вот этого в порядке вещей нет.

— Мне нужна отметка о ключах, — сказал я. — Кто запирает архивную дверь на ночь?

— Замок там врезной, хитрый, не нашей работы. — Матвей сжал связку в ладони. — У Степана Ильича ключ был. У меня вот один, мой.

— Это два. Должно быть зафиксировано, делались ли дубликаты. Кому ещё нужен доступ в архив по хозяйству?

— Да кому он нужен. Там старые дела. Я туда год не ходил. Заперто и заперто.

— Где ключ Степана Ильича?

Матвей ответил не тем голосом, каким отвечал до сих пор.

— В его ящике был. Ящик после него опечатали.

— Сургуч цел?

Он посмотрел на меня, потом на дверь, потом снова на меня — и я понял, что вопроса этого он себе не задавал.

— Схожу гляну.

Он вышел. Я слышал, как он поднимается: через ступень на первом марше, шаг за шагом на втором. Наверху скрипнула дверь, потом настала долгая тишина, в которой он, надо думать, разглядывал сургуч и решал, честно ли будет сказать «цел», если сам никогда его не проверял. Пока он ходил, я расчертил лист на три столбца и в первый вписал два ключа, которые уже называли вслух.

Вернулся он не скоро, и лицо у него было спокойнее, чем на выходе.

— Цел, — сказал он. — Ключ на месте, сургуч не тронут.

— В книге записано, делали дубликаты?

— В книге про архивный вовсе ничего.

Я записал это отдельно. Два ключа я видел своими глазами. Записи о том, сколько их изготавливали, в книге нет вовсе — а значит, книга не подтверждает даже эти два. Сколько всего сделали ключей от той двери, из этого дома узнать нельзя.

Глава 4. Бумаги, слухи и Варвара

Третье утро в этом доме. Малую гостиную протопили к семи; я пришёл туда раньше Матвея и застал комнату в том состоянии, в каком её оставляют на ночь: стулья задвинуты, скатерть снята, на подоконнике стопка вчерашних газет, придавленная утюгом. Утро было серое и низкое, свет от окна доходил до середины стола и там кончался.

Лист с тремя столбцами я принёс с собой. За ночь он не поумнел. Два ключа стояли в первом столбце, третий не стоял нигде, и вся моя ночная работа уместилась в одну строчку: по учёту его нет.

Матвей вошёл следом, с той же связкой и тем же лицом. За ним, чуть погода, приоткрылась дверь из коридора шире прежнего. Вошла Варвара с пустым деревянным подносом. Она протиснулась между стулом Матвея и тяжёлым шкафом, подошла к столу и принялась собирать вчерашние кофейные чашки. Чашки звякнули о дерево.

— Если вы про синие папки, что барин в спальне читал, так их там больше нет, — сообщила она. Блюде Варвара вытянула прямо из-под локтя Матвея. Тот дёрнул рукой и убрал её подальше.

Я повернулся к ней.

— А где они?

— В буфетной. — Варвара сдвинула поднос на край стола, освобождая себе пространство. — Он туда их перетащил, когда спину прихватило. Там печка ближе, греться сподручнее. А в малой гостиной сейчас только старые газеты. Я вчера смотрела.

Она потянулась к стопке разрозненных листов, которые Матвей принёс раньше. Сгребла их в пачку, сдвинула края и переложила на подоконник. Под бумагами открылось зелёное сукно.

Я отложил карандаш.

— Варвара, в буфетной есть домовые книги?

Она вытерла руки о жёсткий передник.

— Толстые, в тёмной клеёнке?

— Наверное.

— Тогда есть. Я с них пыль стираю. Что вам принести?

— Всё, где записывали ключи или выдачу вещей.

Варвара посмотрела на освобождённый стол, потом на меня.

— Для вас там всё будет хозяйским, — сказала она. — Лучше я посмотрю.

— Смотри.

Она подхватила поднос и вышла. Вернулась без него, прижимая к груди толстую книгу и несколько папок. Нижняя папка поползла вниз. Я поймал её у края стола, а Варвара тут же забрала обратно и перевернула обложкой вверх.

— Эта расходная. Эти старые описи. Книга хозяйская.

От картона тянуло печной золой. Варвара оставила передо мной бурую папку, остальные отодвинула к Матвею.

— Начинайте с этой. В ней хотя бы буквы не прячутся.

Сама осталась напротив и прижала ладонью верхнюю обложку.

Под бурой обложкой оказалась хозяйственная ведомость. Линии чертили от руки, без линейки: столбцы съезжали вправо, цифры наползали друг на друга.

Я прижал загнутый край листа.

— Эти крестики возле фамилий — что?

Варвара наклонилась над страницей.

— Дрова. Кто сколько возов со двора забрал.

— А кружки?

Она выпрямилась. Посмотрела сначала на кружок, потом на меня.

— Отработку. Вы осенью велели отделять её от денег.

Карандаш я к её странице подносить не стал: чужую книгу метит тот, кто её ведёт. Маленький кружок ушёл на мой лист, против переписанного номера строки. Страницу я перевернул.

На следующем листе шли суммы. Чернила проступали на обороте грязными пятнами. Я сложил верхние позиции и сверился с итогом под жирной чертой. Повторный подсчёт дал ту же разницу.

Свободного места на столе уже не было.

— Дай чистый лист.

Варвара не двинулась. Пальцы сжали край передника.

— Бумагу, — повторил я и сдвинул папку, освобождая место. — И линейку, если есть.

Она принесла с подоконника несколько желтоватых листов и деревянную линейку. Положила передо мной, сначала на самый край. Я подвинул их к середине и прочертил две графы. Грифель цеплялся за бумагу.

— Приход. Расход, — сказал я.

Первую дату я переписал вместе с суммой. Во второй строке стоял пустой кружок, и я по привычке тоже перенёс цифру в приход.

— Её сюда нельзя, — тихо сказала Варвара.

Карандаш остановился.

— Почему?

— Это отработка. Живых денег не было.

— А едим мы на что?

— Мясник и зеленщик пока дают по старой памяти, в долг, — сказала она, не поднимая глаз. — Овёс со своих деревень. Дрова свои. Соль и свечи покупаем, и за них платит Матвей Савельевич из своих, а как он их считает, я не знаю.

Она уже отступила от стола на полшага. Я стёр цифру; бумага под резинкой залоснилась.

— Остальные кружки тоже пропускаем?

— Да.

— Тогда отмечай, если я ещё что-нибудь не туда поставлю.

Варвара не ответила. Когда я дошёл до следующего кружка, она сама постучала ногтем рядом со строкой. Я оставил клетку пустой. Ещё через две строки она подтянула папку за угол, чтобы мне было удобнее, и стала следить за левым столбцом.

Дальше дело пошло быстрее. Я называл дату и сумму, Варвара проверяла помету на полях. Отработку я оставлял за основной графой и повторял кружок у себя. На одной из строк карандаш прорвал тонкий лист. Варвара без просьбы подсунула другой и придержала линейку, пока я заново чертил столбцы. Руку убрала, когда линия дошла до края.

— Кто вносил записи за последние три месяца? — Я указал на свежие чернила в конце описи. — Почерк другой, буквы мельче.

Варвара покосилась на Матвея. Тот отвернулся к окну.

— Я записывала. Что Матвей Савельевич диктовал, то и писала набело.

— Почему не он сам?

— Так у него рука. — Она показала на своей, ниже локтя. — С той зимы, как санями прижало. К вечеру перо не держит совсем. А книгу набело ведут вечером, по итогу дня. Он диктует, я пишу. Пятый год так.

— Итоги не сходятся.

Варвара перевела палец на итоговую строку, сама проверила две суммы и нахмурилась. Я повёл карандашом вниз по колонке, сверяя даты. Книгу вели подряд, не по годам. Прошлогод-

ний март начинался плотным столбцом, но на десятом числе строки обрывались. Я перевернул лист: там сразу начинался апрель того же года. Вернулся назад.

— Здесь не хватает поступлений за тот март. — Я обвёл карандашом пустое место под датой. — Суммы обрываются на середине месяца. Куда ушли остальные деньги?

— Рука моя, — сказала Варвара раньше Матвея и придвинула лист к самому лицу. — Только я не помню, чтобы оставляла тут пустое. Что диктовали, то и писала, а этих чисел мне никто не диктовал.

Матвей долго смотрел на прочерченный мной круг. Затем тяжело вздохнул и шагнул ближе к зелёному сукну.

— Никуда они не ушли. Ланские приходили.

Я ткнул карандашом в обведённую пустоту.

— Ланские приходили за мартовскими деньгами?

— За опекой, — сказал Матвей.

Я провёл грифелем до первой апрельской записи. Между ней и десятым марта оставалось шесть чистых строк. Визит объяснял долгую паузу Матвея. Обрыв в книге оставался на месте.

— На каком основании опека?

— Варвара лучше знает, что тогда говорили.

Он кивнул в её сторону, но глаз на неё не поднял.

— Я там свечи носила, Родион Андреевич. В старый скандал опять лезть не хочу.

— Про то, что говорили, расскажи, — сказал Матвей.

Варвара помолчала.

— После Вельского заверения о вас много говорили.

— Вельские — это дом?

— Дом, — сказала Варвара. — Старый, из первого ряда. Заверение по их имени зовут потому, что у них его и заверяли: три дома сходились мириться, а вышло то, что вышло.

— Что с ним случилось?

— Оно было, потом его уже не стало. Говорили, вы сорвали.

Матвей отодвинул от себя расходную книгу на ширину ладони.

— Про Артемия, — напомнил Матвей.

— И что вы ударили Артемия Ланского, — договорила Варвара.

Я посмотрел на ободранные костяшки. Кожа на них сходила лоскутами и заживала неровно. Они ничего не доказывали. Вопрос от этого стал неприятнее.

— Насколько сильно?

— Про это не говорили.

— И про примирительный контур, — добавила Варвара.

— Варвара, — оборвал её Матвей и накрыл книгу, будто держал страницу от сквозняка.

— Он всё равно спросит.

— Тогда спрашиваю: что за контур?

— Примирительный. Все повторяли одно: вы его осквернили. Как именно, никто не говорил.

Слухи были дрянными логами. В них путались время и причины, но повторяющиеся места хотя бы показывали, где искать.

— Сколько мы им должны?

— По расписке одиннадцать тысяч восемьсот, — ответил Матвей, не заглядывая никуда. — С пенями к весне будет за тринадцать.

Я записал цифру и обвёл её. Дом стоил дороже, но тринадцати тысяч у дома не было, и это было всё, что требовалось знать.

— Насколько сильно досталось Артемию?

Матвей ответил не сразу, и Варвара на этот раз промолчала за двоих.

— Месяц ходил с лубком. Рука срослась.

— Значит, увечья нет.

— Увечья нет. Обиды на десять лет.

— И на этом они строят опеку?

Матвей подождал, пока грифель остановится.

— После всего скандала у Ланских появилось основание.

Я положил карандаш поперёк пустой строки. Опека объясняла визит, но не пустые строки в марте. Март я отложил вслух, чтобы не держать его в голове зря: к архивной двери он ведёт не короче, чем через полгода счетов. Дверь столько ждать не будет.

— Это весь скандал?

— Основание вы уже слышали, — ответил Матвей.

Он ответил не на тот вопрос. Варвара молчала. Где-то под полом капало — с оттепели там подтекало, и звук шёл через равные промежутки.

— Варвара?

Она не подняла глаз.

— Кого ещё? — спросил я.

— Софью Вельскую, — сказала она.

Матвей тут же повернул к ней голову. Стул под ним скрипнул одной ножкой.

— Не надо, — сказал он.

— Поздно оставлять, Матвей Савельевич.

— Что со мной и Софьей? — спросил я.

— Этого никто толком не знает.

Варвара сказала это, не отрываясь от папок. Верхнюю она поправила, хотя та и так лежала как надо.

Про себя я слушал как про постороннего. Ни зала, ни её лица, ни руки, которая тянула или толкала, — пустое место там, где у всех остальных стояла картинка. Мне стало нехорошо, и я загнал это туда же, куда весь день загонял остальное: пробел в данных, с ним работать можно. С тем, что за пробелом, я работать пока не умел.

— Тогда что говорят?

Варвара отложила папки, вытерла руки о передник и села, чего при мне ещё не делала ни разу.

— У нас в тот вечер прачка была из Вельских, вольная, она к нам ходила по субботам. Она первая и принесла. Говорила: сперва было тихо, а потом сразу крик, и все побежали не туда, куда надо, а к дверям, потому что решили, будто пожар. Через неделю пришла опять и рассказывала уже иначе: что вы её из зала вытащили. Ещё через месяц у нас на кухне говорили, что оттолкнули, а Прохор божился, будто слышал от кучера Ланских, что вы её и вовсе не трогали, а тронули её платье, когда падали. К Рождеству это уже был готовый рассказ, у всех один, гладкий, с началом и с концом, и никто мне не сказал, откуда он его взял. Я и спрашивать перестала: спросишь — тебе перескажут ещё раз, только длиннее.

Она замолчала.

— После заверения я вернулась сюда и грела воду. Про то, что сама видела у круга, говорить пока не хочу.

Варвара видела хотя бы часть той ночи, но её собственного рассказа я пока не добился. Зато на чужих пересказах уже успели построить опеку. Я нашёл карандашом свободное поле и вывел сбоку: «Варвара — расспросить о том, что видела сама».

Одинаково люди запомнили одно: что всё было при людях. Дальше каждый добавил своё.

Варвара подняла глаза.

— И что вы Софью опозорили, — сказала она.

— Ланские скажут «Софья Вельская», — произнёс Матвей. — И до ваших объяснений дело не дойдёт.

Он подтянул папку к себе и накрыл её обеими руками. Паршиво. До моих бумаг никто не дослушает.

— Почему вы оба обходили её имя? — спросил я.

— Потому что про вас и так говорили, — ответила Варвара. — А её приплели следом. Сейчас я говорю только то, что слышала.

— От самой Софьи что-нибудь слышали?

— Нет.

— Где она сейчас?

Матвей поджал губы. Пальцы на папке сошлись плотнее. Ответил всё-таки.

— К тётке увезли, в Тверь. Так мне сказали осенью, а сам я не проверял: незачем было.

Я развернул расходную книгу к марту. Шесть пустых строк никуда не делись.

— От той весны, кроме слухов, что-нибудь осталось?

Матвей нахмурился на пустые строки.

— Чинили много и сразу, это помню. Счёт вёл Степан Ильич, у себя. После него бумаги разошлись по рукам, и где теперь тот счёт, я не скажу.

— Если что чинили или списывали — где это отмечали?

— В старых описях могли отметить, — сказала Варвара.

Я закрыл книгу. Обложка легла с глухим стуком, и капель под полом на секунду показалась громче.

— Найдёшь?

— К утру.

Варвара сняла со стопки бурую папку. Растянутый шпагат держался узлом на уголке. Она подцепила его ногтем, не справилась и протянула папку мне. Я дёрнул за узел. Обложка раскрылась, по сукну расплзлась сухая бумажная пыль.

— За какой год? — спросил я.

Варвара склонилась над первой страницей.

— Тут по комнатам.

Год действительно не стоял. Вверху было выведено «Верхний этаж», ниже шли кривые столбцы с вещами, числами и короткими пометами. Через несколько страниц почерк сменился. Дальше писали мельче, с нажимом: концы букв цеплялись за бумагу и расплзались кляксами.

Я поискал глазами знакомые имена. Ни Ланских, ни Софьи. Даже фамилии хозяина не было.

— А скандал где искать?

— Если писали, то возле поломок, — ответила Варвара. — Но могли и в расходной книге.

— В расходной за март пусто, — напомнил Матвей.

— Тогда здесь, — сказала она и перевернула страницу.

Я взял половину листов на себя. Читать их оказалось хуже, чем старый код без комментариев. Слова я разбирал, но смысл сидел в сокращениях, понятных только тому, кто их придумал.

— «Поч. хоз.»?

— Починено хозяйским счётом.

— «Без возм.»?

— Не взыскивали ни с кого.

— Удобная графа.

— Это не в возмещение, — сказал Матвей, не отводя глаз от графы. — В старых описях так писали, когда взыскать было не с кого. Человек к тому времени уже ушёл со двора.

Варвара помолчала.

— Значит, я вам сказала неверно, — проговорила она. — Я по нынешним читаю. Старых при мне не вели.

— Дальше говори, как читаешь, — сказал я. — Только помечай, где не уверена.

Она кивнула и с этого места стала помечать.

Первые страницы дали разбитые чашки и дверную петлю. Я проверял даты, Варвара — комнаты. Март нашёлся ближе к середине папки, на надорванном у прошивки листе. Зеркало из верхнего коридора починили хозяйским счётом. Причина уместилась сбоку: «буйство господина».

Я перечитал помету.

— Это про меня?

Варвара поправила край листа.

— Про прежнего вас.

На языке вертелось возражение, но предъявлять его было некому. Для этой папки я и прежний я проходили одной строкой.

— Кто записывал?

— Почерк старый, я его не знаю.

Подписи не было. Ещё одно «буйство» стояло у сломанного стула, потом у дверного стекла. Даты расходились на недели.

— Он что, весь месяц ходил и крушил мебель?

Матвей кашлянул в кулак.

— Случалось.

— Четыре раза?

— Могли записать позже, — сказала Варвара. — Когда всё сразу чинили.

Могли. А могли свалить на хозяина всё, за что никто не хотел отвечать. «Буйство» разползлось по всему месяцу и уже ничего не объясняло.

Когда листы заняли почти весь стол, Матвей молча убрал свою связку ключей.

— Мы ищем причину, — сказал я. — А её здесь подставляли после ремонта. Что в ту ночь сломали такого, что не починили вместе с остальным?

Варвара перестала листать.

— Откуда мне знать?

— Из этой же папки. Смотри на результат. Где нет цены, отметки о починке или нового места.

Она прошла вниз по столбцу и вытащила у меня два листа. Теперь мы читали медленнее. Напротив стекла стояли суммы, у мебели — столяр или списание. Вещи уходили из таблицы одна за другой.

Кроме одной.

Строка пряталась в самом низу страницы. Чернила там расплылись, а край бумаги потемнел от пальцев. Я разобрал «футл.» и дальше застрял.

— Это что?

Варвара повернула лист к окну. Серый дневной свет лёг поперёк строки.

— Футляр архивный. Крышка повреждена... замок тоже.

Я попросил её повторить. Архивный футляр — это слово уже поднималось у меня само, в первую ночь, вместе с запахом старой бумаги и с деревянной крышкой, которая не шла в паз. Крышка. Совпадение стало слишком близким, чтобы отложить его к остальным.

— Дальше.

Она долго всматривалась в приписку. Потом подтянула лист почти к самому лицу.

— «Содержимое не сверено».

Матвей подался вперёд.

Я забрал у Варвары страницу. Буквы были мелкими, но теперь складывались. Футляр повредили. Содержимое не сверили. В графе расходов пусто, в графе нового места — тоже. На полях начиналась ещё одна запись, всего несколько слов. «Протокол...» Дальше чернила смыло или размазали мокрой ладонью.

— Какой протокол?

— Не написано, — сказала Варвара.

— Для поломанной мебели протокол составляли?

Она покачала головой.

Матвей потянулся к листу. Я развернул его так, чтобы он мог читать, но из рук не выпустил.

— Помните этот футляр?

Он прошёл вдоль записи, не касаясь бумаги.

— По такой записи не скажу.

— И замок на нём сломали в тот же месяц, когда Ланские заговорили об опеке.

— Дата рядом со строкой? — спросил Матвей.

Даты не было. Только место между двумя мартовскими записями. Я поднялся до первой и спустился до второй. Между ними помещалась неделя; нужная ночь могла оказаться любой. Я раздражённо выдохнул. Опять почти доказательство. В этом доме всё доходило до края полезности и там останавливалось.

— Кто сверял содержимое таких вещей?

Матвей пожал плечами.

— Хозяин мог. Управляющий мог.

— Прежний управляющий уже не ответит, — сказала Варвара.

— А кто разбирал комнаты после скандала?

Матвей молчал и не мешал говорить Варваре. Она разгладила потрёпанный край страницы и не подняла глаз.

— Народу тогда было много, — сказал Матвей, дочитав до конца страницу, которую до этого только держал. — Из дома, от гостей. Потом всё собирали.

— Кто видел футляр после?

Матвей покачал головой. Варвара ещё раз прочла строку и осторожно разгладила надорванный край.

— Я могла видеть. Только не знала, что он этот.

— Как он выглядел?

— Тут не сказано. Если «архивный» тут в нашем смысле — был один малый, переносной, в нём бумаги носили в Палату. Только по этой записи я не поручусь.

Ни размера, ни материала — в самой записи. Слово «футляр» годилось для вопроса, а описание пришлось брать у Варвары и держать в уме как её догадку, а не как запись.

Зато теперь имелся предмет. Его можно было узнать по сломанному замку, если футляр ещё не выбросили. От бумажного следа впервые отходило направление, которое не заканчивалось чужим «не помню».

Я записал себе отдельной строкой: искать не только футляр, но и список того, что должно было в нём лежать. Повреждённый замок говорит, что вещь трогали; несверенное содержимое — что по этой записи после повреждения его так и не пересчитали. Сверял ли кто-нибудь позже другим актом, отсюда не видно.

Я положил лист поверх папки.

— Сначала выясним, кто видел вещь после той ночи. Про содержимое пока молчим.

Варвара разгладила край листа дважды, хотя разглаживать было нечего.

— После той ночи у нас в людской перерыли сундуки, — сказала она. — И мой тоже. Стояли рядом и смотрели, как я вынимаю своё. Ничего не нашли и ничего не сказали.

Она подняла глаза, и в них было столько, сколько она собиралась показать.

— С тех пор я не люблю, когда вещь у нас хранится отдельно. — Она собрала листы в стопку и подбила её о стол. — Спрашивать буду у своих. Что им говорить?

— Правду. Ищем старый футляр со сломанным замком. Про ту ночь ничего не добавляй. Матвей нахмурился.

— Слуги начнут болтать.

— Они и так болтают. Мне нужен тот, кто видел предмет своими глазами.

Я вытащил чистый лист и написал: «Архивный футляр. Сломан замок». Лист положил поверх бурой папки.

Глава 5. Как стоит Верицкий

Футляра не нашли ни в тот день, ни в следующие. Софью Вельскую тоже искали: Варвара спрашивала у своих, Матвей послал к Вельским. Вельские отвечать не стали. В городе её не было. Это всё, что мы узнали о человеке, одного имени которого хватило бы, чтобы меня перестали слушать.

За три дня дом успел вернуться к обычному ходу, а я — к своему телу. На вторые сутки Варвара привела старуху из бывшей людской. Та молча размотала на мне рубаху, посмотрела на бок и сказала, что рёбра целы, а синяки лежат разной давности: одни уже желтеют, другие ещё нет. Значит, между двумя разами прошло время; сколько именно, она сказать не бралась. Тугую повязку она наложила так, что дышать пришлось заново учиться, зато к утру третьего дня боль перестала расходиться от каждого вдоха и осела в одном месте. Левая нога догоняла правую с задержкой, но догоняла. По лестнице я спускался, держась за перила, и это уже не выглядело падением.

Ходатайство Павла своё дело сделало на второй день: бумагу прислали, Матвей прочёл её у порога и дверь оставил закрытой: полномочий в ней стояло меньше, чем нужно, чтобы войти без хозяина. Осмотр перенесли до слушания. Первая моя победа стоила этого: отсрочки до того утра, к которому и так всё шло.

Про то, что меня били дважды, я спросил в тот же вечер. Матвей ответил, что первый раз меня привезли уже битым — с неделю назад, из города. Кто там был, он знал. Знал и промолчал — сказал, что никому этого не говорил и мне тоже не скажет. Настаивать не стал: важнее было, что отказ он не спрятал. Второй случился в самом доме, и нашёл меня он сам: дверь нижней комнаты оказалась заперта снаружи, а ключ висел на своём месте. Кто запирает, не видел никто. Варвара добавила, что в тот день в доме были чужие, но чужие в этом доме бывали каждую неделю. Дальше начинались догадки, а догадок мне и без того хватало.

На один вдох стало холодно и без окна: кто-то запер комнату снаружи и оставил ключ на своём месте. Тот ли это, кто меня бил, и ключом ли он запирает, я не знал. Знал только, что в доме есть человек, который умеет входить и выходить, не оставляя записи. Я завёл этому отдельное место в голове и отложил: пока архив можно потерять на будущей неделе, разбираться, кто ломал мне рёбра на прошлой, — роскошь. Но место я оставил.

Три вечера ушло на то, чтобы выучить дом и то, куда меня повезут. Варвара отвечала за людей: кто где спит, кто чей родственник, что здесь принято говорить вслух, а что только за глаза. Матвей — за Палату: кто там сидит, в каком порядке говорят, чего не любит председатель. Ключи и вещи я сверял по описям, хозяйство — по расходной книге, а право читал сам: Матвей принёс устав Палаты, формуляр и старую книгу решений, и три вечера подряд я уходил в них, как уходит в чужую документацию перед приёмкой системы. Что там написано, я запомнил. Чего там не пишут, узнал уже в Палате.

Про Глеба я спросил на второй вечер. Варвара переставила свечу и сказала, что родни в нём нет ни капли, если я про это, а служит он дому дольше, чем она в нём живёт. Дальше спрашивать посоветовала у Матвея Савельевича. У Матвея я спросил на третий. Он ответил, что Глеба Никитича сюда никто не нанимал и что он здесь был раньше самого Матвея, — и сразу стал считать вслух дрова, которых оставалось на четыре дня.

Ответы сходились в одном: человек посторонний, а вес имеет семейный. У нас такое называлось «доступ выдан вручную, в обход процедуры»: формально его в списке нет, а войти он может куда угодно.

Шёл шестой день с той ночи, когда я очнулся в нижней комнате. Слушание назначили на завтра, на седьмое утро.

За эти дни я трижды проверил, отвечает ли мне тело на имена: сказал вслух «Софья», сказал «Артемий», взял в руку старую опись с подписью Сергея Борисовича и подождал. Ничего — ни укола, ни тяжести, ни того сжатия под рёбрами, которое приходит само, когда чужая рука тянется к правам дома.

Утром, пока вода в тазу не остыла, я наклонился над ней и на полвздоха подождал узнавания. Его не было: я даже не мог представить, что именно должен там увидеть. Я плеснул ладонью и разбил отражение совсем.

За эти дни я успел выяснить про свою память одно, и лучше бы что-нибудь повеселее. Пропало не всё подряд. Пропало то, чем я был для других, и все, кто был при этом. Как звали мать — нет. Как выглядел двор, где я вырос, — нет. Улица, номер дома, фамилия человека, с которым я проработал шесть лет, — ничего. А вот как пахнет мокрая пыль, когда её прибывает первым дождём, — пожалуйста. Как работает холодильник за стеной ночью — пожалуйста. Руки помнят всё, чему их учили, до последней мелочи; голова не помнит, кто их учил. Выжгло людей и всё, что к ним привязано, а навыки, слова языка и обрывки без адреса остались лежать как лежали. С такой памятью можно работать: она молчит именно там, где я привык опираться на чужую, а не на свою.

Топили в комнатах через день, и с рассвета изо рта шёл пар. Я работал в шубе внакидку и грел ладони о чашку, пока она не остыла.

Я сидел у стола с рассвета. Стул подо мной уже нагрелся. Бурая папка лежала под чистым листом, углом наружу. Записка про сломанный замок — сверху. Записи ждали под ним. Даты в них шли столбцом, имена стояли сбоку, и половина имён была мне пустым звуком.

Папка пошла ко мне тяжело. Картон был холодный и чуть выгнутый от сырости. Уголок нижней крышки кто-то давно обмял, и он не разгибался.

Листы внутри сдвинулись и легли веером. Край одного торчал выше остальных, обмятый и потемневший от пальцев. Я вытащил его. Почерк мельче основного текста. Дата стояла мартовская, и число было позднее десятого. Тот самый промежуток, где в расходной книге обрывались строки. Я прочитал первую строку и потянулся за следующей.

— Барин.

Голос пришёл от двери. Я не обернулся. Половица у порога под ним не скрипнула. Ни когда он входил, ни теперь.

— Минуту.

Я дочитывал строку. Буквы расплывались к правому краю листа. Я перечитал её дважды и не удержал ни слова.

— Отойдите от стола.

Я положил лист на место, придавив его большим пальцем, чтобы не съехал. Повернулся.

Глеб стоял в дверном проёме. Руки опущены, плечи свободны. Смотрел он мимо меня, на стол.

— Нужно закончить.

— Отойдите от стола, — повторил он.

Он повторил теми же словами и на той же высоте голоса. Так повторяют не просьбу.

Я отодвинул стул. Встал. Сделал три шага к центру комнаты. Пол скрипнул под правой ногой. Я остановился.

Папка лежала раскрытой. С того места, где я стоял, нельзя было прочесть ни слова. Но можно было видеть, куда указывает вложенный лист. Его край выступал на два пальца.

Я шагнул назад.

Глеб сдвинулся. Он встал между мной и столом. Одно движение. Он оказался на моём пути прежде моего решения.

— Вы отошли. Теперь стойте.

— Мне нужно проверить одну запись.

— Нет.

Одно слово, и он не стал его ничем подпирать.

Вырываться было незачем, и причину я сформулировал уже потом: человек двигался по этому дому так, будто у него здесь полные права и они никем не выданы. С такими не спорят, пока не выяснят, откуда права взялись.

Я смотрел ему в грудь. Ростом он был мне вровень, в плечах шире на ладонь — и всё это не издавало ни звука. В доме, где половицы скрипели под Варварой, под ним не скрипела ни одна. Ног он не переставлял.

— Глеб Никитич, я распоряжаюсь своим временем.

— Распоряжаетесь. Сейчас вы распоряжаетесь им плохо. — Он обошёл меня слева и остановился там, откуда был виден стул. — Вы встали со стула. Я смотрел.

Голос у него шёл без подъёмов и спадов.

— Весь вес ушёл в правую ногу. Левая догоняла. Стул вы отодвинули дальше нужного.

Он кивнул на дверь, не оборачиваясь к ней.

— Лист вы взяли двумя пальцами. Бумага согнулась. Вы этого не заметили.

Я посмотрел на свою руку и в который раз не узнал её: пальцы были толще, чем я помнил, и ноготь на среднем рос криво.

— Дверь вы держали за ручку слишком долго. Она не тяжёлая. На каждое движение вы тратите вдвое. Себя вы при этом не слышите.

Я попробовал переставить ногу тише. Половица скрипнула снова.

Глеб на неё не посмотрел. Его занимала моя правая нога.

Я пошёл к столу так, как ходят по чужой спальне. Ногу ставил целиком, от пятки.

Половица молчала. Вторая тоже, хотя доска на ней была шире.

На третьем шаге я потянулся к папке и понял, что стою неудобно. Вес пришёлся на одну ногу. Вторая только касалась пола.

Я остановился. Он ко мне не притронулся.

— Вот теперь вы слышите, — сказал Глеб.

Он замолчал. Я тоже. За окном по двору протащили что-то тяжёлое, и звук ушёл в сторону конюшни. В комнате пахло чернилами и остывшей печью.

— Вы, барин, не слабый, — сказал он. — Вы хуже. Вы силы своей не понимаете.

Обиды в его словах не было. И той избыточной силы, о которой он говорил, я в себе не находил. Ни в руках, ни в ногах, ни в том, как держу голову.

Глеб кивнул в сторону окна.

— Стойте здесь. Дышите. Забудьте про бумаги.

Я стоял посреди комнаты. Стол остался за спиной Глеба. Папка, записка, лист с выступающим краем — всё это лежало в двух шагах. Оба шага были заняты им.

Глеб ждал.

Ждать я не умел. Пальцы сами нашли шов на брюках и принялись его тереть.

— Хорошо, — сказал я. — Стойка. Показывайте.

Глеб чуть отступил, освобождая пространство между нами.

— Ноги. Шире. Вес на обе.

Я расставил ноги. Тяжесть ушла в бёдра и осталась там. Пол под левой пяткой был чуть выше, чем под правой, и я это заметил впервые за день. Я просто стоял.

— Так?

— Так думаете вы.

Улыбки на его лице не появилось. Он шагнул вперёд и толкнул меня в плечо.

Ладонь пришла в плечо, и повязка на рёбрах отозвалась своим: тупо, широко, без остроты, как отзывается место, которому уже досталось дважды. В первое мгновение я решил, что толчок слабый. Во второе поехали стопы. Обе, в одну сторону, по гладким доскам. Плечи

ушли следом и потянули за собой всё остальное. Между тем, что решала голова, и тем, что делали ноги, встала четверть шага.

Падать не хотелось. При нём — тем более. Я рванулся к его руке, чтобы за что-нибудь взяться.

Рука Глеба ушла из-под моих пальцев. Захват сомкнулся на воздухе. Через мгновение моё запястье было у него. Держал он без усилия, но кисть в его пальцах повернулась в чужую сторону.

Плечо потянуло, и боль прошла по предплечью одной линией, от запястья к локтю.

— Стойте, — сказал он. — Не тяните на себя.

Я замер. Любое движение прибавляло боли. Мышцы предплечья жгло изнутри. Я стоял накренившись, одна нога позади другой. Под воротом рубашки собирался пот и полз по спине одной дорожкой.

— Больно, — сказал я. Просто наблюдение.

— Знаю.

— Отпустите.

— Сейчас.

Он держал долго. Стол за его спиной, папка, выступающий край листа — всё это ушло. Осталась рука, вывернутая под чужим углом, и то, что распоряжаюсь ею сегодня не я.

Хват разжался. Боль осталась, но стала тише.

Я выпрямился. Медленно, позвонок за позвонком. Плечи опустились сами. Правое встало ниже левого, и я подвинул его, пока не перестало тянуть под лопаткой.

— Вы толкнули меня, — сказал я. — Я не упал.

— Поехали.

— Это не то же самое?

— Со стороны — то же.

Насмешки в нём не было. Он смотрел, как смотрят на лошадь перед покупкой: сверху вниз, потом на ноги, потом опять на ноги.

— Стопы у вас тяжёлые, — сказал он. — Пол под ними едет, потому что вы весь вес держите наверху. В плечах. В голове.

— А надо?

— Надо в ногах, как якорь.

Якорь. Я попробовал это представить и представил чугунную лапу, ушедшую в ил по самую скобу. Тело моё про такое ещё не слышало. Оно всё держало наверху — в шее, в затылке, в сжатых челюстях.

— Покажите ещё раз, — сказал я.

Он покачал головой.

— Не сейчас.

— Почему?

— Потому что вы уже думаете о столе.

Тогда я не думал. Мысль пришла позже — от того, наверное, как я скопил глаза за его плечо.

— Я думаю о своей руке, — сказал я. — Она до сих пор болит.

— Это хорошо. Значит, помните.

Он сделал шаг назад. Дышать стало свободнее, дороги к столу это не открыло. В комнате опять стало тихо. Плечо ныло глухо и тупо, и до вечера это никуда не денется.

— Что дальше? — спросил я.

Глеб не ответил сразу. Он разбирал меня снизу вверх и дольше всего задержался на плечах.

— Дальше вы попробуете снова, — сказал он. — Только на этот раз стойте так, чтобы толчок вас не сдвинул.

— А если сдвинет?

— Тогда снова упадёте. И снова встанете.

Я перевёл взгляд туда, где за его плечом угадывался край стола. Папка лежала там же. Думал я о том, что рука до сих пор не разгибается.

Дыхание догнало меня позже и пошло тяжело, короткими толчками: рёбра поднимали заодно с грудью весь остальной вес.

Я попробовал выпрямиться. Правая стояла. Левая стояла не там, где я её ставил.

Поправлять я не стал. Он бы это заметил.

Пальцы правой руки не сходились до конца. Я сжал их дважды. На второй раз получилось хуже.

Хват мне сегодня больше не принадлежал.

Он сказал попробовать снова. Я согнул пальцы на пробу — слушались они через раз.

Я шагнул назад. Один шаг: посмотреть на него целиком и выбрать место для удара.

— Стоп. Куда.

Глеб перехватил меня за плечо раньше, чем я закончил движение. Пальцы легли на ключицу и на сустав, и хват был крепкий. Он оставил меня там, где я оказался.

— Я просто отхожу, — сказал я.

— Сейчас это выглядит как побег.

— Это дистанция.

— Отсюда её не отличат от испуга.

Он не отпускал плечо. Я застыл на полшаге. Задняя нога стояла на носке, передняя держала весь вес. Долго так не стоят.

— Шаг назад читается как признание, — сказал он. — Или как страх. Тактику в зале никто не разбирает, там смотрят и решают.

— Мне плевать, что видят.

— Плевать не получится. Особенно с ними.

С кем — он не сказал. Я не спросил. Дёрнул плечом и вышел из-под его руки. Упёрся ему в грудь обеими ладонями. Толкнул, чтобы сдвинуть с дороги и пройти к столу.

Глеб не сдвинулся. Под ладонями оказалась доска. Я вложил в толчок вес и плечи. Сдвинулись мои ноги, не его.

— Это тоже не то, — сказал он.

— Что не то?

— Толкнуть меня, чтобы пройти. Это не про то, зачем нужен удар.

— Я не бил.

— Собирались.

Он был прав. Я убрал ладони с его груди и вытер их о бёдра.

Предплечье моё он взял лёгким хватом и держал так всё время, пока говорил.

— Граница проходит здесь. — Он сжал пальцы. Боль отозвалась коротко. — Вы её чувствуете.

Он ослабил хват, и боль ушла. Отпускать он не собирался.

— А здесь уже нет. — Хват стал совсем лёгким. — Разницу показывают телом.

Первый и второй пальцы лежали сверху, большой упирался снизу, между костями. Слова я слышал через раз.

— Тот, кто вас поведёт, сделает так же. Только рукой он не возьмёт.

Он опустил их, но не отошёл ни на шаг, и я понял, что разговор этот кончится по его решению. Моего терпения тут не спросят. Стоял так близко, что я слышал его дыхание — без сбоя.

— Если сорвётесь не вовремя, — сказал он, — это будет не удар. Это будет доказательство.

— Доказательство чего?

— Что вы буйный. Что вас нельзя пускать туда, куда вас пускать нельзя.

Буйный. Я повторил это про себя дважды. Слово было не моё, и снять его с себя было нечем.

— Значит, что мне делать? Стоять и терпеть?

— Стоять. Держаться.

— В чём разница?

Он не ответил сразу, и я понял почему: мои руки всё ещё стояли поднятыми к груди.

— Терпение кончается, — сказал он. — Это про слабину. Держаться — про то, что вы решаете сами, когда закончить. Не они.

Я их опустил. Заныло от локтя до шеи — то же самое место, что и час назад.

— Кто эти «они»? — спросил я.

— Ланские. Молодой поедет, Артемий: помянет свою руку при людях и станет ждать, когда вы ответите.

Спорить было не о чем. Стоял и слушал, как под потолком гудит муха. За стеной шла обычная жизнь дома: кто-то тащил по коридору что-то тяжёлое и через каждые несколько шагов опускал на пол, из кухни доносило подгоревшим луком, и от этой домашней возни моё стояние посреди комнаты выглядело глупее, чем было на самом деле.

— Значит, — сказал я, — ни отступить, ни ударить.

— Пока да.

— А что тогда остаётся?

Он перенёс вес с ноги на ногу и только потом ответил.

— Стоять там, где стоите, — сказал он. — И не двигаться первым.

Я остановился. Руки опустились сами: держать перед собой было нечего. Муха под потолком смолкла. Со двора не доносилось ничего.

Он подошёл ближе. Между нами осталось полшага, и запах его табака дошёл раньше него. Я не отступил.

— Ноги. Как стоите.

Я посмотрел вниз. Правая стопа развёрнута к столу, левая отстала на полшага. Носок левого сапога был обшарпан сильнее правого. Переставил обе шире и вжал в доски. Тяжесть пошла в пятки и там осталась.

— Так лучше, — сказал он. — Теперь замрите.

Я замер. Вдох вышел рваный. Выдох я придержал и сосчитал про себя до трёх. Глеб зашёл сбоку, обошёл до плеча и вернулся напротив. Руки поднял медленно, ладонями вниз, на высоту моих ключиц.

— Что вы делаете? — спросил я.

— Проверяю.

Он положил ладони мне на плечи и налёг. Они были сухие и тяжёлые, как деревянные плашки. Шея хрустнула у основания. Суставы отозвались треском. Правое плечо, то самое, отдало старой болью и замолчало. Первая мысль была ударить его в грудь и выйти из-под рук. Вторая пришла его голосом: кончить это решаю я.

Я не двинулся.

Давление росло без рывков. Воздух пошёл через нос толчками. Ноги остались там, где я их поставил. Левая доска под пяткой прогнулась и скрипнула. Вес уходил вниз. Пол принимал его вместе со мной.

— Не поддавайтесь, — сказал Глеб сквозь зубы. Давление он держал на той же силе.

Поддаваться я не стал. Про руки его думать перестал. Думал про пол. Половицы были широкие, стёсанные посередине множеством ног. Тяжесть уходила через ступни в дерево, а от дерева шло обратное. Я подал это обратное вверх. От пяток через колени к плечам.

Глеб дёрнулся. Давление сначала выросло, потом разом ушло. Он отступил на шаг и заднюю ногу переставил дважды.

В комнате стало тихо. Моё дыхание и скрип половицы под его сапогом. Где-то за стеной хлопнула дверь, и по коридору прошли двое.

— Так, — сказал он. Голос был другой — без насмешки, без прежней проверки.

— Что «так»? — спросил я, хотя чувствовал, что уже знаю ответ.

— Вы не ударили. И не отступили.

— Вы сами велели.

— Велел. Но не думал, что получится с первого раза.

Я перевёл дыхание и прислушался к себе: плечи гудели сплошь, без острых мест.

— Уже лучше, — сказал он, глядя на меня внимательнее, чем раньше. — По крайней мере, теперь вас придётся сдвигать всерьёз.

Я молчал.

Он отошёл к окну. Стекло было мутное понизу, и свет лёг ему на плечо и на половину щеки. Во дворе кто-то катил бочку — звук шёл толчками. Глеб заговорил, не оборачиваясь.

— Час назад я бы этого не сказал, — начал он. — Завтра вас проверят на людях. В Палате, не здесь.

— Почему час назад не сказали бы?

— Тому, кто едет с толчка, знать незачем. Он там не выстоит, а с чужой тревогой в голове упадёт быстрее.

Больше он не скажет. Переспрашивать не было нужды.

— И что там будет? — спросил я вместо этого.

Он повернулся ко мне всем корпусом и не сощурился, хотя свет от окна шёл ему в глаза.

— Ланские, — сказал он, — попробуют заставить вас повторить старый скандал.

Под рёбрами стянуло и не отпустило. Так же тянуло тогда, когда палец шёл по строке уведомления, привезённого Павлом, и я поймал себя на том, что жду от собственных рёбер объяснения, которого они дать не могут.

— Какой скандал? — спросил я.

Глеб молчал так долго, что я передумал спрашивать.

— Вельский, — сказал он. — Так его называют.

— Имя знаю. Слухи слышал. Что было на самом деле — нет.

— Знаю. В этом и дело.

Он переступил с ноги на ногу и снова не издал ни звука.

— Они помнят ту ночь. Вы — пересказ о ней из третьих рук, от горничной. Разговор пойдёт по их правилам.

— Тогда расскажите.

— Нет, — сказал Глеб. — Если я расскажу, отвечать вы будете на мой рассказ. А отвечать надо на то, что скажут они. Главное — помните то, что сейчас узнали.

— Стоять и не двигаться первым, — сказал я.

— Именно.

Я думал о том, что в прежней своей жизни разобрал бы это за час: поднял бы записи, посмотрел, кто и когда трогал доступ, и получил бы ответ, не вставая со стула. Здесь записи вели люди, которые сами решали, что записывать, а мой час уходил на то, чтобы правильно поставить ноги.

Кивнув, я прислушался к себе. Болело всё, что сегодня работало, и тело само нашло бедро, чтобы опереться. Оно уже знало, где у него теперь опора.

Я стоял и смотрел на дверь. Она была закрыта, и щеколда на ней не задвинута.

Глава 6. Малое заседание

Ночь между той дверью и Палатой прошла быстро: бок к утру ныл сильнее, и я просыпался дважды, каждый раз проверяя, помню ли, зачем встаю.

На седьмое утро я взялся за ту же щеколду и отвёл её до упора. Пальцы прошли пустым движением. Дверь подалась легко, и коридор встретил меня холодом от нижних окон. Половицы здесь скрипели иначе, чем в кабинете. Глеб стоял на пороге за моей спиной — вчерашнее он повторять не стал, только напомнил не отступать без необходимости. Я не обернулся и шагнул вперёд.

В конце коридора стояли двое. Матвей держал под мышкой плотную чёрную папку и говорил что-то Варваре, наклонившись к её лицу. Она кивала часто, будто торопилась согласиться, пока он не договорил. Заметив меня, Матвей выпрямился. Он двинулся навстречу быстрым шагом и прижал бумаги к себе крепче. Варвара сразу отступила к стене и опустила глаза.

— Родион Андреевич, — сказал Матвей, — сегодня малым порядком: без полного состава, три подписи вместо семи, а решение такое же обязательное. Я подготовил вступительное слово. Скажу за вас первые фразы, чтобы задать тон. Дом вёл дела без потрясений, и это нужно показать сразу.

Шага я не менял. Он попытался зайти сбоку и поравняться со мной. Коридор был достаточно широким для двоих. Матвей пошёл рядом, чуть впереди, постоянно оборачиваясь, чтобы говорить мне в лицо. Пять лет он держал дом и каждый раз забирал бумагу после ошибки хозяина.

— Палата любит порядок в речи, — продолжал он на ходу. — Начнём с отчёта по долгам, потом перейдём к текущим счетам, а уже после я назову цифры за прошлый квартал. Вы просто подтвердите мои слова.

— Дайте бумаги, — сказал я.

Я протянул правую руку, не сбавляя шага. Матвей не подал папку. Пальцы его побелели на чёрном картоне, а глаза остались на пустом коридоре впереди.

— Там сложная сводка, — сказал он. — Вы не успели её изучить. Позвольте мне самому ответить на первые вопросы.

— Отдайте папку.

— Они зададут вопросы про старые сделки. Вы не знаете подробностей. Палата не любит заминок, любая пауза сыграет против нас.

Останавливаться я не стал и шёл с протянутой рукой. Матвей шёл рядом. Между нами оставалась ладонь пустого воздуха и папка. Я взялся за её верхний угол. Он держал. Держал без рывка, как человек, уверенный, что через минуту я устану и уберу руку. Я не отпустил. Моя ладонь оставалась открытой, а пальцы сжали край картона.

Матвей разжал пальцы. Папка перешла ко мне целиком. Он опустил руку вдоль тела.

— Как скажете, — произнёс он. Голос стал суше.

Папка потянула руку вниз. Углы у неё были мятые. Сверху лежала записка чужой рукой, в две строки.

— Что Палата решает сегодня? — спросил я. — Одной строкой.

— Достаточно ли оснований оставить за нами голос и архив до конца наследственного дела, — сказал Матвей. — Если решат, что нет, назначат опеку и опись имущества.

— А печать?

— Печать они трогать не станут. Они спросят, действует ли она. Это и будет весь вопрос.

— Варвара давала вам это утром? — спросил я.

— Она с вечера собрала. Я только сложил по порядку.

— Порядок оставим ваш. Про счета и про имя дома говорю я, вы молчите, пока не спросят вас. Понадобятся цифры — я подниму руку с папки.

Матвей наклонил голову и больше на меня не смотрел. Он отступил и больше не пытался идти вровень со мной. Теперь он шёл позади. Его шаги звучали в такт моим, как ходят за хозяином, а не впереди него.

Я взвесил папку в руке. От неё пахло сургучом и старой бумагой. Плечо всё ещё ныло, и локоть искал, куда прижать угол, чтобы не давило. Нашёл. Не оглядываясь, я спросил:

— Кто от них будет?

— Не сказано, — ответил Матвей.

Я перехватил картон поудобнее и пошёл дальше.

Во дворе стояла оттепель. Снег сошёл до земли у стен и держался только вдоль ограды серыми грядами, а посередине двора стояла вода, и в ней отражалась крыша конюшни. Прохор вывел пару и подал сани на съёмных полозьях: по такой погоде во дворе ещё катят, а за воротами ставят колёсный ход. Полозья взяли тяжело, с чмоканьем; на булыжнике Прохор слез, отбил чеку и перекинул ход, не сказав ни слова и с тем выражением, какое бывает у человека, проделавшего это в четвёртый раз за неделю.

Со мной поехали двое из домовых. Матвей назвал их по именам, я забыл оба к концу двора, и мне было стыдно до тех пор, пока я не сообразил, что виновата спешка. Один был широкий и немолодой, второй — помоложе, с обмороженным ухом. Они сели сзади, лицом назад, и всю дорогу молчали. Просить их об этом никто не просил: дом сам решил, что в Палату хозяин один не ездит.

Ехали через город без спешки. Улица шла вниз, к воде. За оградой стояли дома чужих родов: одни — с открытыми воротами и чищеным двором, другие — с закрытыми и заколоченным флигелем, и по этим воротам было видно, у кого как идут дела, вернее, чем по любой сводке. На перекрёстке мальчишка продавал горячее из корзины, и пар от неё поднимался прямо в лицо лошадям. Баба ругала возчика, возчик её не слушал. Никто не оглянулся на наши сани, и это было хорошо.

Палата стояла в конце улицы — низкое длинное здание в два этажа, с широким крыльцом и без всякой красоты. У крыльца было тесно от чужих экипажей. Люди входили и выходили с бумагами, здоровались, не останавливаясь, и по тому, кто кому кланялся первым, лестница читалась не хуже описи.

Пропуск у входа проверял человек в казённом сюртуке. Матвей подал бумагу, тот нашёл строку с именем дома и осмотрел меня дольше, чем её. Ничего не сказал и пропустил.

Внутри пахло мокрым сукном и печным дымом. Коридор сворачивал направо и заканчивался высокой двустворчатой дверью. Оттуда доносился глухой гул голосов. Шаги Матвея раздавались за спиной — тише прежних, но не отставшие.

Двустворчатая дверь подалась тяжело. Гул голосов не оборвался, но опустился на полтона. Я слышал это раньше, чем увидел лица.

Зал был длинный, с двумя рядами скамей вдоль стен. Свет шёл сверху, из узких окон под самым сводом. Я сделал первый шаг внутрь. Угол папки снова врезался в локоть. Перехватил на ходу, поудобнее.

Матвей вошёл за мной. Кто-то с ближней скамьи поднял голову.

— Матвей Савельевич, — сказали негромко.

Он ответил лёгким наклоном. Ко мне не обратился никто. Я пошёл дальше.

Проход шёл через весь зал. Люди сидели плотно, локоть к локтю. Там, куда я направлялся, скамья пустовала. Двое соседей отодвинулись, не дожидаясь, пока я с ними поравняюсь. Один нашёл дело у собственных ног. Другой развернулся к проходу и потянул воротник.

На скамье по обе стороны от меня осталось пусто на локоть.

Плечо тянуло, и смотрели именно на походку. Шаг я не прибавил. Я дошёл до скамьи и опустил папку на дерево. Стукнула глухо, сургуч смягчил удар. Сел.

Матвей за спиной втянул воздух. Сосед через промежуток оценил папку, потом меня, и отвернулся с той вежливостью, с какой не поправляют чужую оплошность. Папку в Палате на скамью, выходит, не клали. Читать чужие доступы я умел; знать, куда здесь её кладут, было неоткуда. Матвей остался стоять у края прохода, полшага позади меня.

Скамья по бокам оставалась пустой. Соседи через промежуток были теперь просто зрителями.

Впрочем, не все умели смотреть молча. Через два ряда кто-то рассказывал соседу — не понижая голоса, с удовольствием и не в первый раз, — как это самое лицо в прошлом году держали за локти вчетвером и всё равно не удержали. Сосед шикнул. Рассказчик не понял и переспросил громче. Пустота справа и слева от меня всё равно осталась.

Я положил ладонь сверху на папку. Углы её показались очень острыми под пальцами.

Через проход, за длинным столом, сидели Ланские. Лиц было не разобрать, но посадку я узнал. Молодого среди них не было. Глеб сказал: поедет Артемий, — и ошибся, а я строил на этом всё утро. Старший держал руки на столе и смотрел на своего человека сбоку. Тот перебирал листы, не поднимая глаз. Никто из них не глядел в мою сторону, и это было вежливее, чем если бы глядели: так не смотрят на того, с кем считают дело решённым.

Гул в зале не вернулся. В наставшей тишине слышно было, как скрипит перо у протоколиста. Кто-то в дальнем углу прошептал и осёкся. Искать глазами, кто это был, я себе запретил.

Человек Ланских дочитал верхний лист и отложил его. Потом поднялся.

Он был невысок, с прямой спиной, и весь собран.

— Кожин, — сказал Матвей мне в плечо, не шевеля губами. — Аркадий Данилович. Поверенный. Все их бумаги — его рукой, лет десять уже.

Ближайшие ряды затихли до того, как он открыл рот. Он просто стоял, и зал понемногу это допускал.

Я тоже ждал. Ладонь моя лежала на папке, пальцы чувствовали неровный край сургуча. Матвей позади не двигался. Пустота вокруг меня к этой минуте сомкнулась окончательно — вежливая, гладкая, без единой трещины.

Оппонент обвёл зал и выбрал меня.

Он молчал. Пауза вышла длиннее, чем нужно, чтобы набрать воздух.

— Господа судьи, — сказал он негромко. — Мы говорим о человеке, который однажды уже поднял руку в этом сословии. Я имею в виду происшествие с молодым Артемием Ланским. Оно было тогда замято по родству. Сегодня замать его некому.

Он говорил в сторону Палаты, но слова были положены на меня, как ладонь на плечо.

Что-то толкнулось под рёбрами, снизу вверх, к горлу. Правая рука пошла с колена сама, без моего решения.

Пальцы на папке дёрнулись сами. Я разжал их обратно на сургуч.

Матвей сзади не шевельнулся.

Кожин не продолжал. Он стоял вполоборота к скамьям и выждал.

Я остался сидеть. На Софью Вельскую мне никто не указал; ещё на входе Матвей сказал вполголоса, что Вельских сегодня не будет. Сейчас это встало на своё место: никто не потянет её имя следом за моим.

Я поднял глаза мимо Кожина, на возвышение.

— Прошу прощения у Палаты, — сказал я. Голос вышел ниже, чем я боялся. — Хотел бы уточнить процедурный вопрос, прежде чем отвечать по существу.

В зале перестали шуршать бумагой. Кожин не обернулся, но плечо его напряглось.

— В каком качестве упомянуто прошлое дело? Как обстоятельство, приобщённое к разбирательству по установленному порядку. Или как частное припоминание уважаемого представителя стороны. Мне важно знать это, чтобы выбрать форму ответа.

Ладонь я оставил на папке. Она прижимала меня к скамье надёжнее самой скамьи.

Кожин повернул голову ко мне на четверть. Со скамей было видно висок и край воротника.

Ответа мне не было; он развернулся к возвышению. Плечи опустились.

— Господа судьи. — Голос его сделался суше прежнего. — Оставляя в стороне частные припоминания, прошу Палату обратить внимание на иное. На основания, которые сторона моя намерена представить дополнительно. Обстоятельства, ставшие известными в последние дни, требуют отдельного рассмотрения.

Он больше не оборачивался ко мне. Я исчез из его поля. Он говорил теперь только вверх.

Толчок под рёбрами остыл. Я почувствовал, как отпускает шею. Матвей позади не двинулся, но стоять мне стало легче.

Старший Ланский за длинным столом медленно переложил руки одну на другую. Он смотрел на своего человека сбоку, и по лицу его нельзя было прочесть, доволен он поворотом или нет.

Я сидел неподвижно. Пальцы на папке разжал совсем. Углы сургуча оставили на подушечках слабый отпечаток. Тереть я его не стал.

Кожин продолжал говорить вверх, к возвышению. Какие основания он собрал, я пока не знал. Это предстояло узнать сейчас, из его же рта.

Оппонент договорил и наклонил голову к возвышению. Скамьи позади зашевелились, кто-то откашлялся в кулак. Старший Ланский поднялся сам, тяжело, обеими руками опершись о стол.

— Всеволод Ланский, — сказал Матвей мне в спину, одними губами, будто я и без него должен был знать. — За десять лет он тут не говорил ни разу. За него всегда говорит поверенный.

— Господа судьи, — начал Ланский громче, чем говорил его поверенный. — Сторона наша просит об отсрочке заседания. Обстоятельства требуют проверки. Двух недель нам достаточно.

Он сел, и вопрос был решён для него. Секретарь у бокового стола уже наклонился к листу. Перо повисло над строкой. Председатель ещё не раскрыл рта.

Я встал. Колени затекли от долгого сидения.

— Прошу занести в протокол причину отсрочки.

Секретарь поднял глаза — я помешал ему закончить фразу, которую он уже видел на бумаге.

— По ходатайству стороны, — произнёс он вполголоса. — Ввиду вновь открывшихся обстоятельств.

— Какие обстоятельства. По чьему требованию отсрочка.

Он повернулся к председателю за подсказкой. Председатель молчал, разглядывая свои сложенные пальцы.

Ланский повернулся ко мне вполоборота, не вставая на этот раз.

— Мы не обязаны излагать в протоколе существо проверки, — сказал он спокойно, почти лениво. — Довольно, что она ведётся стороной нашей.

— Отсрочка есть перерыв в производстве. Перерыв записывается с основанием, а не с общим словом.

Секретарь держал перо неподвижно, глядя то на меня, то на возвышение. Перо стояло над той же строкой и не опускалось.

— Формула эта принята в Палате многие годы, — попробовал он ещё раз, уже тише.

— Прошу записать со слов стороны Ланских: какие обстоятельства проверяются и до какого срока.

Садиться я не стал.

Председатель наклонился к соседу справа. Они обменялись несколькими словами, почти беззвучно. Зал ждал. Скрипнула скамья, кто-то вздохнул сзади, зашуршали бумаги на столе Ланских.

— Секретарь, — сказал председатель, досмотрев свои сложенные пальцы до конца. — Записать по существу дела. Со слов стороны Ланских: отсрочка испрашивается для проверки сведений, полученных ими в последние дни и относящихся к предмету иска.

Он выждал, взглянул поверх очков в зал.

— Срок — две недели. Новое заседание назначается на двадцать третье число сего месяца, в тот же час.

— Прошу занести и это, — сказал я. — Сторона Верицких заявляет, что основание изложено неполно.

Кожин поднялся со своего места. Он не обратился ко мне и не обратился к залу; он наклонился к столу секретаря и сказал туда несколько слов, негромко, как говорят о порядке подшивки. Секретарь поднял голову к возвышению. Председатель выслушал его и повернул ко мне лицо поверх очков — прямо, первый раз за всё заседание.

— Заявляет через кого?

Вопрос был короткий, и я его не понял.

— Через меня.

— Кто ваш поверенный, Родион Андреевич?

Секретарь перестал писать. На скамьях сделался тот особый звук, какой бывает, когда полтора десятка человек одновременно решают не смотреть в твою сторону.

— Я веду дело сам.

— Тогда занесено будет как слово стороны. Ходатайство подаёт поверенный. Слово стороны Палата выслушивает и к производству не приобщает.

Он отвернулся к соседу справа, и на этом со мной было закончено.

Я остался стоять, пока до меня доходило сказанное. Всё, чего я добился за последнюю четверть часа, он одной фразой переложил в другую стопку — туда, где лежит то, что записано и ни на что не влияет. В уставе я читал, что письменное ходатайство подаёт поверенный, и это помнил. Не понял я другого: просьбу занести моё заявление в протокол здесь считают тем же ходатайством. Спросил я точно. Ответ получил тоже точный.

Матвей за спиной молчал. Спросить его про это я мог ещё утром, в карете, и не спросил — потому что не знал, что об этом надо спрашивать.

Он всё-таки наклонился и сказал это мне на ухо, с опозданием на одну фразу.

— Наш ушёл после скандала. С той поры трое отказали. Четвёртый брался, но за деньги вперёд.

Значит, знал. Знал и вёз меня сюда, рассчитывая, что меня спросят, а я отвечу, и до подачи бумаг дело не дойдёт. В его голове это был не пробел, а срам, а про срам не докладывают, пока не спросят прямо.

Кожин сел. За всё заседание он не сказал мне ни одного слова напрямую, а то, что решило дело, сказал мимо меня: секретарю, вполголоса, о порядке подшивки.

Секретарь склонился к бумаге, и теперь перо шло без остановок. Я следил за его рукой и считал строки.

Матвей за моей спиной уже писал в своём блокноте. Дата легла одной строкой. Он подчеркнул число и не сразу поднял перо.

Всеволод Ланский поднялся во второй раз и поклонился возвышению. Кожин встал следом, с запозданием. Я это запоздание заметил и оставил при себе, не зная пока, для чего оно

мне понадобится. Десять лет он здесь молчал, а сегодня открыл рот дважды — и оба раза ради двух недель.

Председатель тронул колокольчик. Звук вышел сухим, коротким. Скамьи зашумели и задвигались. Кто-то встал раньше времени и тут же сел обратно.

Я не спешил подниматься. Папка лежала передо мной, следы сургуча темнели на бумаге. Пальцы у меня были холодные. Под столом я сжал их в кулак и разжал.

— Что действует эти две недели? — спросил я Матвея, не поднимаясь.

— Всё, как было. Голос за нами, архив за нами, дверь на нас. Ходатайство их о сохранности лежит в деле и ждёт нового заседания.

— То есть осмотра до двадцать третьего они требовать не могут.

— Требовать могут. Получить — нет. Пока Палата не решила, ключ ваш.

Это было первое за день, что можно было записать в приход. Две недели при этом оставались сроком немалым, и что успеют найти за них Ланские, я не знал; незнание сидело тяжелее усталости.

Матвей закрыл блокнот и убрал его в карман. Вставать полагалось мне, и он этого не торопил.

Я встал, и скамья скрипнула за спиной. Матвей отступил, пропуская, и я взял папку под локоть. Сургучные следы царапнули сукно рукава.

Зал расходился медленно, люди говорили вполголоса и оглядывались на возвышение. Ланские двигались к выходу первыми. Всеволод шёл впереди, Кожин отставал от него. Я проводил их глазами и обернулся в другую сторону.

Тогда я увидел мальчишку у колонны — того, кого утром в очереди называли Рудневым, а Матвей, проходя, обронил: «Илья, младший у них».

Он стоял у бокового прохода, между колонной и скамьёй третьего ряда. Тонкий, в сюртуке не по росту. Он старался держаться прямо, и оттого одно плечо стояло ниже другого; рука лежала на перчатках как на чужой вещи. Двое из старших домов стояли поодаль и не глядели прямо на него. Так смотрят на дичь, которая ещё не поднимала головы.

— Подождите меня у передней двери, — сказал я Матвею.

Он кивнул и пошёл, не спрашивая больше.

К Илье я не пошёл. Говорить с ним сейчас было незачем. Я свернул к длинному столу у стены, где сидел писец Палаты, принимавший листы при подаче.

Он меня узнал и приподнялся на четверть. Не решил, вставать ли перед молодым наследником в день слушания.

— Ваше сиятельство.

— Сидите, — сказал я и положил ладонь на край стола. — Дом Рудневых подал бумагу к нынешнему реестру. Мне нужно на неё взглянуть.

Писец не пошевелился.

— Бумаги домов лежат по стопкам. Порядок известен, ваше сиятельство.

— Известен. — Я посмотрел на левую стопку, где виднелся край листа с рудневской печатью, красный сургуч, оттиск в три четверти, посаженный наискось. — Именно эта. Подайте её.

Он потянулся к стопке и на середине передумал.

— Ознакомление вне заседания требует представления от стороны.

— Наши дела шли сегодня одним реестром, — сказал я. — Я сторона по смежному листу.

— Смежный лист даёт вам реестр, ваше сиятельство. Не бумагу.

Он сказал это без нажима, как говорят то, что говорили сегодня уже трижды. Спорить было не с чем: правило он назвал, и правило имело имя.

— Тогда реестр.

Писец подтянул к себе широкую книгу, раскрыл на сегодняшнем дне и развернул ко мне. Сам лист остался в стопке. В книге при подаче выписывали то, чем бумага устанавливает право, — формулу, слово в слово, без имён и сумм.

Пальцы у него были в чернильных пятнах у самых ногтей.

В реестр при подаче переносили одну строку — основную формулу перехода права, слово в слово; добавочные условия туда не шли, для них была сама бумага. Я наклонился над книгой и стал искать это место. Ноготь пошёл по левому полю сверху вниз, отсчитывая абзацы, и остановился на третьем.

Строка говорила о праве требования по обязательствам, известным и могущим открыться. Ограничений в предмете и лице не было. Я провёл ногтем слева направо, до края листа. Право было шире, чем должно быть у обычного долга. Такую же строку я видел в бумаге, которую привёз Павел, только слова стояли другие. Зазор был тот же самый.

— Кто составлял формулу? — спросил я, не поднимая головы.

Писец накрыл нижнюю графу ладонью.

— Про составителя не спрашивают, ваше сиятельство.

— Я и не спрашиваю. Я прошу прочесть вслух то, что вы обязаны вносить при подаче. Или запишите отказ, и я подам его в том же порядке.

Он подержал ладонь ещё секунду и убрал.

— Поверенный дома Ланских. По поручению заимодавца.

— Кожин?

— Аркадий Данилович, — подтвердил писец, не поднимая головы.

— Заимодавец здесь — Ланские.

— Так, ваше сиятельство.

Я кивнул, хотя услышать хотел иное.

— Формула «могущим открыться» — она из общего формуляра Палаты или её вносит сторона?

Писец коснулся уголка бумаги, не глядя на меня.

— Формуляр допускает разные редакции. По усмотрению сторон.

— По усмотрению заимодавца, вы хотите сказать.

— По взаимному усмотрению, ваше сиятельство.

— То есть должник эту строку тоже правил.

Он не ответил сразу, и пауза вышла длиннее положенного. Кончик пера на столе указывал в мою сторону, будто сам по себе. Писец подвинул перо на место и молчал.

— Он подписал, — выговорил писец.

— Я спросил не про то, подписал ли он.

Ответ так и не пришёл, и этого мне было довольно. Формулу вписал поверенный. Понимал ли Руднев, что отдаёт вместе с долгом, я не знал: подписать можно и с открытыми глазами, если деваться некуда. Та же вставка пришла и ко мне, только пока без моей подписи. Между этими двумя листами лежали, наверное, и другие. Я их не видел.

— Благодарю, — сказал я и снял руку со стола.

Писец не спешил закрывать книгу и следил, где я держу палец. Я сделал полшага назад и остановился.

Схема была слишком знакома мне, чтобы оказаться случайностью.

Если история уже затянула — буду рада вашему «Нравится» на странице книги. Для меня это хороший ориентир, а книге помогает быть заметнее на Author.Today.

Глава 7. Чужой долг

Писец за спиной перевернул страницу, и звук вышел громче, чем следовало. Я не обернулся. Папка была тёплой под локтем.

Зал сидел в сером свете. Окна шли высоко, под самым потолком, узкие и без занавесей, так что свет ложился поверх людей, на верх стены, где висели доски с именами домов. Внизу его не хватало: у судейского стола горели две свечи в жестяных отражателях, и пламя в них не качалось: сквозняка здесь не было. Пахло сургучом, воском и мокрым сукном от чужих шинелей.

Доски висели в два ряда. Верхний был короче нижнего и шёл буква в букву, а в нижнем имена стояли теснее и краска на некоторых потемнела до нечитаемости. Верицкие были в нижнем, третьими справа. Кто это развешивал и когда, я не знал, но порядок читался и без объяснений.

По скамьям сидели не только те, у кого дело. Половина пришла смотреть, и я понял это по тому, как они сели: посередине, где лучше видно, а не с краю. Двое передавали друг другу орехи. За боковой дверью, в служебном коридоре, разговаривали, и голоса доходили общим гулом, из которого не выбиралось ни одного слова.

Под рёбрами было тихо. С утра в этом зале заверяли чужие права, и моя печать не отозвалась ни разу. Я вернулся к тому, что делалось у колонны.

Двое, что держались поодаль от Ильи, сдвинулись, пока я говорил с писцом. Теперь они были ближе к нему на два шага, и между ним и проходом оставалось место на одного человека.

Тяжёлый двинулся первым, но не к Илье. Он обошёл скамью с торца и задержался у соседней колонны, глядя в сторону судейского стола. Илья повёл глазами за ним. В это время говоривший сделал два быстрых шага. Между Ильёй и залом теперь стояла чужая спина.

Илья попробовал шагнуть к скамье. Тот как раз возвращался и оказался прямо на этой линии. Он никого не толкнул. Он просто занял то место, куда мальчишка хотел ступить, и остановился, будто задумавшись. Рука Ильи отошла от завитка колонны и повисла.

Уйти я мог сразу после колокольчика. Я попросил писца выписать мне ту строку из реестра. Перо у него шло медленно, и я ждал стоя, а не в коридоре на казённой лавке. Из-за этого я и видел всё с начала.

Я стоял у стола писца. Ближе я пока не подходил. Прохор и двое наших остались у главных дверей, как им было велено, и в зал не смотрели.

Тот, что был ближе к Илье, заговорил первым. Слов было не разобрать. Голова его была склонена так, чтобы речь не долетала до соседних рядов, и так, чтобы Илья был вынужден смотреть снизу вверх. Тяжёлый занял место позади него, задрал голову к потолку. Один говорил, другой закрывал ему спину.

Илья ответил одним движением губ. Он мотнул головой. Говоривший склонился ниже. Тяжёлый опустил голову к мальчишке. Тот мотнул головой снова, слабее прежнего.

Между мной и колонной прошёл кто-то из зала, и на миг группа скрылась. Когда человек ушёл, картина изменилась: Илья стоял ближе к колонне, чем раньше. Его не толкали руками. Его двигали тем, что от него не отступали.

Говоривший повёл рукой к внутренней стороне сюртука, спокойно, как за платком. Вынул он сложенный лист. Сложен был вдвое, углом наружу, по углу шла тёмная лента печати.

Развернул он бумагу сам, у самого лица Ильи, так, что мальчишка не мог не читать. Тяжёлый в тот же миг придвинулся вплотную, и проход закрылся совсем.

Илья смотрел в лист. Губы разошлись и замерли. Он поднял глаза на говорившего, потом снова опустил их к бумаге. Говоривший молчал, и лист в его руке не шевелился.

До них было шагов десять, и все десять простреливались взглядами с задних скамей: в зале ещё не разошлись после утреннего списка, кто-то переговаривался у окна, кто-то складывал бумаги нарочито долго. Ноги остались на месте. Вес перешёл на переднюю стопу сам, раньше меня, и я поймал это движение уже после того, как оно случилось.

Илья снова коснулся колонны, но теперь не держался, только тронул дерево ладонью и убрал руку обратно.

Писец за спиной кашлянул и отложил перо со стуком. Я не оглянулся на него. Под сводом гудело от чужих голосов, и гул этот накрывал как раз то место, где был Илья, так что слов его никто бы и не расслышал.

Говоривший ждал. Бумага была развёрнута и не опускалась.

Я оторвался от стола писца и пошёл к колонне. Папка давила на предплечье, мешая свободному шагу. Я прижал её к груди плоско, освобождая правую руку для возможного захвата. Паркет под сапогами гасил звук сам, слишком тихо для того, что я собирался сделать. Я хотел, чтобы меня услышали раньше, чем увидели вплотную.

Илья поднял глаза первым. Он увидел меня поверх говорившего и вздрогнул. Тяжёлый только начал поворачивать голову на звук моего приближения.

— Позвольте, — сказал я.

Слово вышло суше ожидаемого. Говоривший удержал бумагу на весу и отвёл её к себе, ближе к груди.

— Молодой человек, вы ошиблись столом.

— Туда, куда мне нужно.

Я встал рядом, так что между нами не осталось прохода. Тяжёлый шагнул навстречу всем корпусом, и я принял толчок папкой, неудобно, через жёсткий угол картона. Он сбился на мгновение с уверенного напора.

— Покажите строку, — сказал я. — Одну. Я задержу вас ровно на минуту.

Говоривший смотрел мимо меня прямо в зал.

— Здесь частная беседа, — сказал он.

— Долг чужого дома читается вслух при третьих лицах, — сказал я. — Или вы предпочитаете позвать писца сюда, к колонне?

У окна перестали переговариваться. Кто-то из старших домов повернул голову в нашу сторону и не стал отворачиваться. Тяжёлый качнулся снова, тяжелее прежнего, и упёрся мне в бок пряжкой пояса. Я перенёс вес вперёд и остался на месте. Отступить сейчас значило потерять угол, с которого виден край листа, а этого я избегал больше боли в рёбрах.

Красный оттиск в углу стоял криво, с одной стороны толще: ставили той же торопливой рукой, что и на реестровом листе. Ниже начиналась строка формулы, сложенная в колодку слов, с которой должник соглашается по инерции.

— Родион Андреевич, — тихо позвал Илья.

— Стой где стоишь, — ответил я, глядя прямо в бумагу.

Говоривший повернулся ко мне лицом. Оно было немолодое и совершенно спокойное.

— Извольте отойти. Молодой господин сейчас подпишет получение, и мы разойдёмся.

Только теперь я увидел второй лист — небольшой, разграфлённый, с оставленным внизу пустым местом. Тяжёлый приготовил его отдельно от долгового. Чернильницу он принёс свою, дорожную, с привинченной крышкой.

— Что он подписывает?

— Получение уведомления. Пустая формальность.

Формальность считает срок. С той минуты, как должник расписался, ему уже нельзя сказать, что он не знал, и просрочка идёт от этого числа. От дня, когда доберётся почта, её не считают.

— Семейное дело у него в руке, — сказал я. — Дайте прочесть один пункт. Ошибусь — извинюсь перед вами обоими прямо здесь.

— Вы вмешиваетесь в чужой договор.

— Вмешиваюсь.

Тяжёлый перехватил меня выше локтя и потянул назад, к проходу. Хватка была сухая, без злобы, как берут в тесноте, — и оттого особенно понятная: в зале, где считают, кто кому первым кланяется, чужой дом взяли за локоть при свидетелях. Ему было нужно, чтобы я дёрнулся первым.

Я не стал тянуть на себя. Вместо этого уронил вес в пятки, как учили накануне, и встал в пол всей подошвой. Двадцать лишних килограммов, которых я до сих пор не знал, куда девать, впервые оказались кстати. Он потянул и наткнулся на то, чего не ждал; его собственное усилие ушло в никуда, плечо провалилось вперёд, и на этом полушаге я вынул локоть из его пальцев.

Палец лёг прямо на бумагу. Лист прогнулся. Дёрнуть его к себе говоривший мог, однако удержал на месте и смотрел вниз дольше, чем это объясняется растерянностью.

Я прочёл вслух — так, чтобы слышали трое и писец за моей спиной.

— «...с правом представлять младший дом перед Палатой и осуществлять принадлежащий дому голос во всех сословных делах при всякой просрочке платежа». Здесь. Читайте с моей руки.

Илья закрыл глаза на один долгий удар и открыл снова.

Кто-то в зале обернулся. Я услышал это спиной через заминку в общем шуме. Считать людей я не стал. Это значило отвлечься от листа.

Скамья второго ряда скрипнула вся разом: там встали, чтобы видеть поверх голов. У боковой двери слуга в казённом сюртуке приподнялся со своего табурета, посмотрел на нас и сел обратно. Здесь никого не били, а на остальное у него, видимо, не было предписания. Гул в зале не стих, но переменился: так меняется шум, когда половина людей говорит уже не о своём.

Говоривший смотрел мне прямо в лицо. Тяжёлый прекратил давить плечом, сохраняя прежнюю стойку.

— Вы прочли ошибочно, — сказал говоривший.

— Я прочёл с вашего листа. С вашей печатью.

Палец я не убирал. Пока он лежал на бумаге, строку видели все четверо.

Илья отнял руку от колонны. Первый раз за всё это время он стоял совершенно без опоры и смотрел на строку, а лицо его медленно собиралось из прежней растерянности в новую жёсткую складку.

Я стоял внутри их плотного круга. Тяжёлый касался моей папки, говоривший задевал рукав. Между нами троими находился один развёрнутый лист, и на этом листе лежал мой палец.

Говоривший медленно вдохнул.

Ответить он не успел.

— Один вопрос, — сказал я. — Пока рука моя лежит на строке.

Тяжёлый качнул плечом. Папка моя чуть сдвинулась и вернулась на место.

— Мальчик, — начал говоривший.

— Родион Андреевич Верицкий, — поправил я тем же голосом, каким читал строку. — Писец за моей спиной записал.

Писец кашлянул сзади. Этого было достаточно, чтобы говоривший переменил лицо. Голос я держал в узде и злился, что для этого приходится стараться.

— Задавайте, — сказал он сухо.

— Почему право взыскания включает право голоса за дом Рудневых?

Я произнёс вопрос спокойно, для четырёх человек и писца, не громче. Пауза вышла длиннее, чем требовал ответ.

В этой паузе стало слышно всё остальное. У судейского стола продолжали своё дело: кто-то диктовал цифры, и голос шёл без выражения, как читают опись. Перо моего писца скребло по бумаге, потом остановилось. Здесь было душно; воздух шёл от свечей вверх и там оставался.

— Так заведено в Палате, — сказал он наконец. — Спросите у секретаря собрания.

— Секретарь не держит вашу бумагу. Я держу.

— Норма общая, юноша. Она в уставе Палаты, а не в частном листе.

— Тогда покажите строку устава. Здесь написано другое.

В папку он не полез. Посмотрел на меня долго и ответил то самое, чего я не хотел слышать.

— Основание не в уставе, — сказал он. — Оно в договоре. Дом Рудневых его подписал. Устав позволяет сторонам условиться о представительстве по взаимному усмотрению, и они условились. Вам показать место, где стоит подпись?

Ответ был хороший. Три вечера над уставом Палаты оказались потрачены не туда: я искал запрет там, где мир оставил свободу договора.

Пришлось заходить сбоку.

— Подпись я вижу, — сказал я. — А теперь скажите, при какой процедуре дом отдаёт голос. Про деньги стороны условятся как хотят, тут вы правы. Но голос — сословное право, и передают его тем порядком, какой устанавливает сама Палата.

Я понятия не имел, так ли это. Но и он не захотел спорить об этом при писце.

Тяжёлый переступил, отступая полстопы к колонне. Плечо его отошло от моей папки.

Я повторил вопрос громче. Так его слышали от соседних столов:

— Почему право взыскания включает право голоса за дом Рудневых?

Голова обернулась у стойки писцов. Ещё одна — у дальней колонны. Он глянул мимо меня туда, откуда шли эти взгляды. Лицо его переменялось второй раз.

— Мы обсудим это в надлежащем порядке, — сказал он.

— Порядок сейчас надлежащий. Лист у вас в руках, вопрос задан вслух.

— Вопрос неуместен для этой минуты.

— Тогда назовите время, когда он станет уместен.

Времени он так и не назвал, сколько я ни ждал. Пауза стояла между нами так плотно, что писец у меня за плечом перестал скрипеть перьевым концом.

Илья не двигался. Он держал прежнюю жёсткую складку у рта и смотрел то на лист, то на меня. Впервые не от него ждали ответа.

Говоривший принял решение быстрее, чем я ожидал. Он протянул руку и выдернул лист из-под моего пальца одним движением, резким и злым. Костяшкой задел мою руку и отвёл её как чужую.

Лист хлопнул. Его сложили вдвое и ещё раз вдвое. Печать ушла первой, под отворот его платья.

— Мы вернёмся к бумаге, — сказал он. Тише, почти мне одному.

— С третьим лицом, — ответил я. — Иначе разговор не считается состоявшимся.

Считается он или нет, я не знал. Я знал, как это звучит при писце, который слышит каждое слово и пишет с середины фразы. Вторая ложь за сегодня, и обе в одну сторону: я объявлял правилом то, что хотел бы видеть правилом.

Ответа не было. Он отступил на шаг, потом ещё, и место у колонны осталось за нами. Тяжёлый придвинулся вплотную к колонне, ничем не касаясь Ильи. Круг держали трое. Разомкнулся он там, где прежде был тяжёлый.

Оба пошли к боковой двери. Оттуда они и явились. Шли молча, говоривший впереди, воротник у него на затылке был прижат. Я смотрел им в спины и это заметил.

Илья опустил плечи. Немного, на палец. Колонна была за спиной, и он к ней не притрагивался.

Писец сзади произнёс вполголоса:

— Записать вопрос?

— Запишите. Слово в слово. И что ответа не последовало.

— Это в дневную книгу пойдёт, — предупредил он. — В производство без поверенного не ляжет.

— Знаю. Мне и надо, чтобы просто было записано.

Он кашлянул и отошёл к своему столу. Там у него лежала стопка узких листов, разграфлённых заранее: слева час, посередине дело, справа — кто говорил. Дописав, он придвинул к себе плоску с сургучом, но капать не стал: заверяют в конце дня, все листы разом, и до этого написанное можно ещё поправить. Я запомнил и это тоже. У любой записи есть промежуток, когда она ещё не окончательна, и полезно знать, какой он длины.

Я поправил папку под локтем и почувствовал, как рука зудит после долгого напряжения. Боковая дверь ещё не закрылась. В проёме были видны две удаляющиеся спины.

Илья смотрел чуть ниже лица — на воротник и на замок папки. Рот его дрогнул и остался закрытым.

Дверь качнулась и пошла закрываться медленно, со скрипом, который в этом зале был слышен всем.

У самой боковой двери тяжёлый оглянулся на меня — так оглядываются на отложенный долг. Я взгляд принял и не ответил на него ничем. Зрители из ближних рядов уже разворачивались к главному выходу.

Дверь сошлась плотно. Скрип оборвался последним. В зале остались мы с Ильёй, писец и трое моих.

Папка тянула локоть. Я перехватил её удобнее и застегнул замок. Щелчок вышел громче, чем нужно. Илья от этого звука вздрогнул чуть заметно.

— На сегодня с вас довольно, — сказал я. — Пока я здесь, вас не тронут. До нового разговора не подписывайте ничего, даже получения бумаги.

Подпись им нужна была тихая. Пока Илья ставил бы её один на один, это называлось получением; после моего вопроса под запись подпись переставала быть бесспорной — обстоятельства, при которых её брали, видели посторонние, и писец их записал. Поэтому они и сложили лист.

Он потянул перчатки на себя и только потом ответил. Смотрел при этом в сторону стола протолиста, на пустой угол сукна, где не лежало ни одной бумаги. Писец в его сторону не глядел, но это, кажется, не помогало.

Илья прижимал перчатки к груди. Прижимал крепко, обеими руками, крепче, чем нужно перчаткам. Одну он смял так, что кожа пошла складкой поперёк.

— Вы поняли меня? — спросил я.

— Да.

Голос вышел тише, чем разговорный. Глаза он держал прямо на мне, дольше положенного. Благодарить вслух под запись значило дать дому повод спросить, кому он должен. Он этого и не сделал.

— Мне благодарности не нужно, — сказал я.

Он опустил веки. Плечи у него до сих пор были подобраны, как перед ударом, которого не последовало.

Зал за это время опустел наполовину. Свет из верхних окон ушёл вправо и лежал теперь на пустых скамьях, а не на досках с именами. Служитель у боковой двери снимал нагар со свечей ножницами, по одной, без спешки: заседаний на сегодня больше не было. Где-то за стеной, в коридоре, разговаривали и смеялись, и смех был не наш, а такой, каким люди отмечают

конец рабочего дня. С улицы доносился стук колёс по камню, голоса, окрик извозчика. Рёбра у меня к этому часу были глухо, как была бы старая половица, если бы на ней простояли час не сходя с места.

Я перехватил папку под мышку и почувствовал, как затекла рука. Разогнул кисть, потом сжал. Три моих человека ждали у главной двери. Старший смотрел мне в лицо и молчал.

Держался он не так, как утром. Утром это был человек, приставленный сопровождать хозяина, который может не дойти до кареты сам. Теперь он стоял вполоборота к залу, не выпуская из виду боковую дверь — ту, за которой ушли двое. Никто ему этого не велел.

Второй, помоложе, глядел на мою папку так, будто в ней прибавилось весу. Прохор глядел прямо перед собой и никуда. Он один из троих сегодня работал столько же, сколько вчера, и по нему нельзя было понять ничего.

— Идём, — сказал я им.

Прохор толкнул створку. Она пошла легче боковой, без скрипа, и не вернулась.

Я обошёл Илью справа, оставив между нами шаг воздуха. У порога придержал шаг и обернулся. Опоры он себе больше не искал.

Он шевельнул губами и ничего не сказал. Потом сделал шаг вперёд, носком к моим сапогам. Перчатки прижал крепче к груди.

И поклонился.

Поклон вышел коротким. Писец за его спиной поднял голову на тишину и снова опустил перо. Поклон в протокол не входит.

Я ответил тем же — наклоном головы, без слов. Говорить было не о чем.

Начал он с «мальчика», потом было «юноша», а под конец обращение пропало вовсе. Обращение он менял не из вежливости: так меняют оценку противника. Я оставил это при себе, как и его давешнее опоздание.

Развернулся и пошёл к двери, где ждали мои.

Глава 8. Не все документы лгут одинаково

В малой гостиной пахло воском и остывшим чаем. Огарок горел без чада. Я положил папку на стол, и она осталась закрытой. Матвей сидел напротив, положив тяжёлые руки на столешницу.

— Зачем дом Верических лез в долг Рудневых, когда своих бед довольно? — сказал он.

Я не ответил сразу. Придвинул к себе чистый лист и обмакнул перо. Рука шла медленно. Порядок пунктов я помнил, слова — нет, и приходилось подставлять свои. На третьем абзаце перо запнулось. Я поставил кляксу, промокнул её краем и продолжил.

— Я добивался бумаги на минуту, — сказал я. — Долговой лист унеси с собой. Я читал его час назад. Остался у меня только его порядок — какая строка за какой.

Я дописал последнюю строку и отложил перо, чувствуя, как затекли пальцы. Достал из папки наше уведомление и положил его рядом со своей записью. Я развернул оба листа так, чтобы Матвею было видно. Огарок бросал на плотную бумагу один и тот же жёлтый круг.

— Читай начало у нас, а потом у меня.

Матвей наклонился и повёл пальцем по строке.

— О сроке и месте предъявления. — Он перевёл глаза на мой лист. — И тут так же. О предмете требования. Родион, у любого уведомления оно так стоит.

— Согласен. Читай следующую.

Он потянулся к чашке, отпил остывшего чая и поставил её обратно.

— Об основании требования. И у тебя оно там же.

Матвей откинулся на спинку стула. Отодвинул от себя оба листа на ширину ладони.

— Я не понимаю, зачем ты меня водишь по этим строкам. Долг чужой. Проблема чужая. Наш дом и так держится на честном слове, а ты собираешь врагов там, где мог бы сидеть тихо. «Ты» от него я услышал впервые за неделю и запомнил, где именно оно случилось.

Я положил ладонь на оба листа.

— Читай дальше, — сказал я.

Снег на дворе был светлее неба. Окно в малой гостиной одно, и то смотрит в стену флигеля, так что огарок здесь жгут с полудня.

Он выдохнул через нос. Взял уведомление ближе к свече. Огарок качнулся, тень от его руки прошла по стене.

— О сроках уплаты. Совпадает. О пене.

Он отвёл руку от бумаги и снова отодвинулся.

— Не буду, пока не скажешь прямо, к чему это.

— К тому, что, если я скажу тебе прямо, ты мне не поверишь. А если увидишь сам, поверишь и не станешь спорить.

Он опустил взгляд к бумаге и подвинул палец к следующей строке.

— О праве требования.

Он остановился на середине фразы.

— Право требования распространяется...

Матвей замолчал.

— Дальше.

Он не дочитал вслух. Провёл пальцем до конца строки и повёл его назад, к началу. Перевёл палец на мой лист, на ту же самую строку, и прошёл её так же, до конца и обратно.

Огарок треснул фитилём и присел. Тень качнулась по столу между нами.

— Здесь право требования шире, чем должно быть, — сказал он.

— Да.

— И здесь. — Палец лежал на моём листе. — Тоже шире.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.